



Если ты не согласишься словам Забери мои мысли и слушай Собери меня или сломай
Делай, как тебе нужно Если ты не согласишься словам Забери мои мысли и слушай Забери моё
сердце и душу Забери моё сердце и чувствуй Что во мне только эта любовь Ничего больше не
может быть У меня больше нет ничего Ничего больше этой любви Что моя любовь больше
всего А что больше вообще может быть? У меня больше нет ничего Ничего больше, кроме
любви (Текст песни ЯАВЪ — Чувствуй)

Вместо пролога

Ошибка за ошибкой... Мелкими плитками, ровным рядом, вымощенная моими же решениями — дорога в рукотворный ад. Ошибка за ошибкой... И первая, самая главная: в том, что я, вопреки здравому смыслу — начала подражать. Ему — мужчине. Системе грязных мыслей, обесцененных вещей, утопичности мира. И впустила это в себя — разрушение.

Вторая оказалась еще глупее — перестала отказывать. Слишком давно, чтобы вдруг резко начать. И в конечном итоге это решило все. Это, а именно — моя безотказность, все сломало.

Ведь если Джеймс был чертовой штормовой волной, который подхватил когда-то и выбросил в пенное море теневой стороны, в итоге утащив на дно. То Франц именно им и оказался — моим губительным дном. Красивым. Спокойным. Смертельно-опасным.

Джеймс лишил сил к сопротивлению. Франц вовремя оказался рядом и поработил. Фил же стал необходимостью и абсолютотом.

И вот она я — в темной комнате без окон, в тусклом свете единственной лампочки, в матовой поверхности стеклянного стола пытаюсь рассмотреть то, что осталось от моей личности. В прозрачных поблескивающих осколках возле босой ступни на полу. В алых, слишком контрастно-ярких каплях, стекающих по бледной коже рук.

Мне не больно. Мне тихо. Мне странно и страшно. Потому что буквально год назад жизнь казалась обманчиво упорядоченной, в ней был хоть какой-то смысл что-либо ради себя делать. Глупая выдуманная цель и губительные, душащие, но привычные чувства. Сильные, но не разрушающие до конца, если держать ровно каждое по разные стороны разума и сердца, запирая в изолированные, индивидуальные комнаты и не пытаюсь смешивать.

Убивающие, если концентратом вогнать глубоко в вены и пустить в кровь... словно наркотик. Абсолютно дезориентирующие. Потому что любить троих мужчин одновременно чудовищно сильно, но совершенно по-разному — невозможно сложно. И отказаться никак. Потому что если потеряю хоть кого-то — не станет меня. Или уже не стало, я растворилась в этих чувствах, словно таблетка аспирина — показавшая свою мимолетную пользу и покинувшая.

— Что ты сделала? — Знакомый, вкрадчивый голос проникает в уши нехотя. Проникает медленно, будто дымка. Проникает болезненно, словно способен исполосовать быстрее, чем смертельно-опасное, острое лезвие. — Веста, что, мать твою, ты сделала? — Крепкие руки, вздергивающие вверх, заставляющие встать на ноги, распрямить задеревеневшие мышцы, которые свело судорогой от слишком долго неизменной позы.

Тело онемевшее. Чувства слишком яркие. Боль буквально осязаемая и имеющая запах свежей крови. И глаза напротив запретно синие. Глаза напротив — мое личное небо. Глаза напротив одни из тех, что распотрошили душу. Он один из тех, кто изолирован в сердце. Он тот, кто способен причинить мне боль. Потому что я позволила. Сама.

Ему. Всегда.

— Веста?

А капли по щекам стекают прозрачные, горчащие на губах и холодные. Я смотрю на него и не понимаю ни что ответить, ни надо ли вообще что-либо говорить.

А капли по пальцам стекают глянцево-красные, щекоткой по коже, горячие. Я не собиралась убивать себя, просто порезалась, совершенно случайно раздавив чертов стакан в руке, но сил перевязать раны нет. Нет и желания.

А капли стекающие внутри, где-то глубоко — матово-черные, ядовитые, прожигают кислотой дорожки на самой душе. Она теперь еще более темная, чем была ранее. И дело не в том, скольких я успела за столько лет лишиться жизни. Дело в том, кого конкретно парой часов ранее решила убить.

— Веста?

— Его больше нет, — разводы на светлом шелке блузки грязные. Кровь безобразно портит дорогую ткань. А руки дрожат. Мне бы хотелось не сожалеть, мне бы хотелось перестать тихо скулить внутри, скулить и плакать о потере, о невозможности желаемого расклада, о страхе. Мне бы многое хотелось, но... — Его нет, Фил. Больше нет. — Пальцы дрожат касаясь плоского живота, комкая и без того испачканную ткань. Их хочется погрузить в собственное тело, чтобы наверняка проверить осталось ли хоть что-то от комка моих чувств и нервных окончаний, от сгустка клеток, от боли, что фантомно дробит теперь все кости и тянет, отдаваясь судорогой в ногах.

— Что ты сделала?

— Он не простит меня, я не хочу, чтобы даже пытался. — Задыхаюсь, уткнувшись в теплую шею. Задерживая дыхание, пока не начинает темнеть в глазах. — Не хочу и боюсь.

— Зачем? — Выдыхает, и вместо того чтобы оттолкнуть, уйти, и сделать то, что я на самом деле заслужила — прижимает крепче. — Дура, блять. Какая же ты пустоголовая дура. Все ведь могло быть иначе.

— Нет. — Мотаю головой, хоть и получается с трудом. — Нет, не могло.

— Почему?

— Я не знала, чей он.

Каблуки утопают в почве, острая шпилька прорезает землю как заточенная спица бисквитный пирог. Ветер бросает повлажневшие от легкой мороси пряди в лицо. И те противно цепляются за длинные выкрашенные ресницы, липнут к помаде, мажут по припудренным щекам. Хлестко и неприятно. Пара настырных капель попадает за шиворот и тонкое пальто прошивает насквозь. По ребрам бегут мурашки, опоясывая и спускаясь от копчика обильно вниз... по бедрам, чтобы после зачем-то прогрызть себе путь — легкой судорогой в обе икры.

Больно, некомфортно максимально и по-собачьи холодно. После неудобного кресла в вертолете спина начинает монотонно ныть, потому что на пасмурную погоду у меня абсолютная аллергия, когда состояние совершенно размазанное и беспричинно гудит голова. Но это мелочи, в сравнении с тем, сколько пар глаз сейчас смотрят на мои лодыжки, медленно поднимаясь от тех к ярко-красным губам. Давая сраную оценку.

Каждый, абсолютно каждый сейчас видит перед собой не специалиста, не ту, кто приехал помочь, кто может помочь, а приятной внешности потенциальную давалку. Которой стоит лишь найти чем заплатить. И не всегда плата подразумевает деньги. Не в наше время. Не в нашем мире. Не в этом явно месте. И здесь идет конфликт интересов с гребаного старта. Потому что видеть попытку поставленной цены на мое тело целиком или же частично — до тошноты мерзко, пусть и привычно. Потому что быть куском мяса, имеющим входные отверстия и пару выпуклостей — отвратительно. Потому что на ум женщин в нашем обществе всем плевать. Потому что мне не нужна чужая цена, и оценка как таковая — я не продаюсь. Потому что им все равно. А я доказывать ничего не стану. Никому.

Но каждый раз, оказываясь в новом месте, особенно в подобных... Где балом правит смерть, жестокость, кровь и деньги. Я чувствую, что для них просто расходный, пусть и полезный, но материал. И хочется рычать от безысходной злости. Ведь доказать ничего, никому и никогда не получится. А попытки лишь убьют самооценку и нервную систему окончательно.

И бьется в виске судорожная мысль, что я в очередной раз совершаю огромную ошибку, даже не попытавшись сопротивляться, и без возмущений принимаю чужое, принятое без моего озвученного согласия, решение... смиряясь с ближайшим будущим.

Или же малодушно сбегая, пристыженно, но пытаюсь сохранить остатки все еще трепещущей в груди гордости.

Я знаю, что Джеймс мой поступок оценит крайне низко, почти обесценит и подчинение, и слепую болезненную преданность. Он давно к этому всему вместе взятому чертовски сильно и неправильно быстро привык. С моего молчаливого позволения. Из-за моей слишком неуправляемой привязанности. Излишней благодарности. Ведь он — чистокровный, абсолютный ублюдок, ставший подобием рыцаря в тошнотворно кипенно-белых доспехах, когда-то, в каком-то извращенном смысле спас. О чем его никто не просил, но впрочем, его никогда никто и не просит. Он почему-то в один из моментов своей жизни просто эгоистично решил, что имеет на это право.

Имеет право решать за других. Имеет право спасти их. Уничтожать их. Играть ими.

О, Джеймс любит играть.

И я, увы, его главная пешка. Обидно, правда, что нелюбимая.

Горчащим пульсирующим комком застревает в горле привычная правда. В которой приходилось убеждаться не раз, даже не два, отнюдь и не несколько. Подтверждение его, к счастью ли — неизвестно, но не шкурного интереса в мою сторону.

А мне бы хотелось.

Ощутить на себе силу страсти того, кто сводит с ума не один год, постоянно подогревая на медленном огне мою запретную, никому не нужную страсть, периодически давая будто тонкую, хрупкую кость оголодавшей, словно суке, каплю тепла. Подпуская чуточку ближе, призрачно давая дотянуться, захлебнувшись полюбившимся запахом и после — не отталкивает, но и не проявляет участливости, отчего все выглядит лишь унижительнее.

Как, например, вчера...

Когда-то мне казалось, что к тридцати годам меня либо посадят, либо я буду гнить глубоко под землей. Изредка всплывал в воспаленном уставшем мозге образ идеального будущего — безбедного, рядом с людьми, с теми кто готов заботиться и любить. И неважно будь то родители, брат или сестра, а быть может и полностью сюрреалистичная вещь — ребенок и муж.

Когда-то мне казалось, что достаточно лишь вдохнуть полной грудью, чуть пощипывающий после в ноздрях, порошок или вогнать тонкую иглу в вену, и все станет немного, но ярче.

Мне казалось я смогу остановиться. Мне казалось, что таблетки скорее топливо, чем коварный убийца. Мне казалось, что Джеймс меня спас, когда сохранил лицензию, в тот момент, когда мои анализы показали не тот, что необходим результат, и тюремный срок был бы малой карой за то, что практикующий хирург под кайфом проводил операцию и не кому-то, а как оказалось — внуку министра.

Мне казалось.

Джеймс породил чудовище, а может просто вскормил и вырастил. А я изначально им и была.

Но при всем том, как филигранно он выдрессировал во мне добровольное подчинение, вчера все же сумел провести с силой, напористо провести и с нажимом против шерсти. А с животными, пусть ручными и домашними... так нельзя.

Нельзя давать мнимую, ненужную, травмирующую надежду. Нельзя допускать того, чтобы перед тобой сползали с дивана на колени, чтобы одержимо дышали запахом теплой кожи, утыкаясь после в ширинку лицом, желая ощутить такой необходимый отклик на собственные действия. А в итоге понимая... Что ему все равно.

И нет причин сомневаться в том, что он может. Когда хочет. Мне приходилось не просто слышать — видеть его во время сексуальных игр. Проблем там явно не возникало.

Но не со мной.

И это вчера неожиданно сломало. Будто меня били раскаленными длинными прутьями по оголенной спине, распарывая до кровоточащего мяса, а после обильно втирали жгучий перец в открытые раны. Втирали садистски. Ибо как объяснить то, насколько сильно... чертовой... твердой, словно из стали, рукой он прижал мой затылок к себе, вынудив задышаться в собственный пах, пока я не начала рыдать?

И его чертова власть надо мной пусть и перестала пугать очень давно, ударила слишком сильно по дребезжащим натянутой струной чувствам.

Он простослушал, как я рыдаю в голос, содрогаясь всем телом. Он просто слушал, черт

возьми, а после поднял и усадил на собственные колени и держал в крепких объятиях несколько часов, пока меня не вырубил окончательно от силы эмоций.

А утром был завтрак и молчаливый вопрос на дне его глаз, пытливый, пронизательный, вскрывающий меня взгляд, несколько роковых слов — и я не могла отказать.

Не захотела.

Сорвавшись в богом забытое место, только бы подальше от него. Только бы ухватиться онемевшими руками за выпавшую мне... к добру ли? Неизвестно, но передышку-соломинку. И плевать, что в очередной раз разыгрываю выстроенную и спланированную им самовлюбленным эгоистом партию.

Главное — не видеть знающих глаз. Главное — не вспоминать вчерашний вечер.

И инстинкты включаются внезапно и полностью. Примитивной дрожью вдоль напряженного позвоночника. Медленно понимание проникает в поры. Заполняет собой, никуда не деться.

От себя не сбежать. От себя бежать бесполезно. Но проблема теперь в другом — я не дома. И только от меня зависит, что будет дальше. Моя судьба — в моих руках. Хозяйка своего тела, раба собственных желаний. Вырвавшаяся из-под контроля...

Наконец-то?..

А блядски противный ветер все также лезет под узкую юбку, пусть подол ее и достает почти до колен, но облегающий ноги карандаш сейчас, в противовес моему желанию особо не привлекать к себе внимание... его как раз и привлекает. Сумочка камнем висит на сгибе локтя, мизинец на правой руке все еще подергивает неприятно и тикающе после удара, а скол на кончике ногтя нервирует. Потому что хуже неидеальности внутренней — не люблю неидеальность внешнюю.

А я сегодня неидеальна. Совсем.

Ветру же на мое недовольство плевать, тот десяток метров, что иду к огромному полуразваленному зданию, игнорируя прожигаящие меня взгляды голодных диких псов этого места, он терзает мое тело откровенно издеваясь. Ерошит волосы, игольчатыми уколами прошивает по ребрам, царапает шею. И резким, злорадным порывом... тонкий шарф срывается с плеч, не помогает даже брошь, которая слишком легковесна, чтобы удержать. Полупрозрачная терракотовая, шелковая материя падает на влажную землю пугающе графитового цвета, цепляясь за сколотые острые камни. Скользит словно ржавое облако, взбитой ватой, измазанной кирпичной крошкой, в сторону пугающего вида бородатого мужлана.

А он вместо того, чтобы поймать шарф рукой, прижимает свой тяжелый армейский ботинок к невесомой ткани. Склонившись — брезгливо поднимает. И ровно в этот самый момент я понимаю, что не сделаю ни шагу в его сторону, пусть вещь и была немного, но все же любима. Потому что даже с расстояния этих метров он устрасюще, невозможно, отталкивающий всем своим видом. И глаза его кажутся раскаленной, черной, гладкой галькой под нахмуренными бровями.

Что совершенно не добавляет баллов этому чертову месту. Из которого хочется попросту малодушно сбежать. Снова сбежать. Теперь уже из этого незнакомого чистилища. Впервые сбежать ото всех, даже послушавшись Джеймса, ведь все остальные разы какой бы ни была просьба — я ее выполняла.

Но утром он долго и довольно убедительно рассказывал мне о необходимости подобной меры. Поил сухим белым вином почти до изжоги и мягкой, но твердой лаской своего голоса

вдалбливал, втирал по микрочастицам каждым сорвавшимся с его губ звуком, что здесь будет безопасно. Что это едва ли ни единственное место в нашем прогнившем мире, где меня не достанет ни один ублюдок. Потому что попросту не рискнет.

Здесь удивительный глава, здесь поблизости один из самых влиятельных центров, здесь огромный потенциал. Здесь нужна моя профессиональная помощь. Здесь я смогу расслабиться, сменить обстановку, взять передышку-паузу.

Здесь.

В месте, где за несколько минут мне становится понятным — отсутствуют цвета совершенно. Все невзрачно серо-черное. Темное, выгоревшее, выцветшее, омертвелое. И дело совсем не в том, что близится зима. Дело в том, что вокруг будто все вымерло. Как и в моей долбанной пустынной душе.

И после солнечной Калифорнии это бьет контрастами, после привычного Сан-Диего хочется побыстрее скрыться от глаз, спрятаться в комнате, укутаться в мягкий плед и выпить не менее литра горького как нефть кофе, чтобы убить эту тошнотворную горечь от ощущения собственной незначительности. Или набрать целую ванну обжигающе горячей воды и проварить себя до внутренностей, уйдя с головой на самое ее дно и терпя дискомфорт смотреть на ровную гладь. До нехватки воздуха. Почувствовать мнимую власть. Над собой. Хотя бы минимально.

Хочется сбежать. От него. От себя. Отсюда сбежать. Сбежать и от мыслей.

Но упрямо иду к зданию, игнорируя нервную дрожь, игнорируя холод, игнорируя взгляды и в спину, и с обеих сторон. Иду, глядя четко перед собой, с трудом сдерживаясь, чтобы не скривить губы, потому что мерзкая ледяная капля попадает на разгоряченную кожу шеи и стекает все ниже и ниже.

И желание передернуть плечами нестерпимо. Но я упрямо иду.

Знать бы во имя чего в очередной раз? Ведь так сильно желаемое мной душевное спокойствие тут явно не настигнет. Знать бы зачем занимаюсь мазохизмом из-за него? Помимо очевидного. И не пожалею ли в итоге?

Знать бы. Но я не знаю.

И истина такова — Джеймс попросил. А Джеймсу не отказывают. Даже не пытаются. По крайней мере, я.

*** Первые дни на базе однотипно странные. И как бы ни хотелось ощутить вдали от Джеймса облегчение... как раз оно и не приходит. Одиночество и без того слишком давно со мной бок о бок, потому недостатка общения не ощущаю. Зато с лихвой купаюсь в дискомфорте, потому что и комната меньше, чем мне бы хотелось, и вода имеет странный запах, много пыли, отвратительный медблок и отвратительный же напарник.

Привыкшая к определенной модели поведения людей вокруг себя, знающих о моем статусе, приближенности и даже привилегированности, стать совершенно пустым местом — мгновенно и без предупреждения — оказывается шокирующе.

Шокирующим оказывается и он. Весь.

Его зовут Док. Ему улыбаются дружелюбно, его слушают внимательно, его, несомненно, уважают. И у него страшные, пронизательные глаза, цепкие, словно гладкие поблескивающие хитином жуки с маленькими дрожащими лапками. Темные будто две выпуклые, почти черные, гляцевые вишни. И от одного пристального взгляда на кончике языка ягодный привкус, почему-то отдающий терпким горьковатым дымом.

Его зовут Док. Но проблема в том, что в Калифорнии, где я уже не один год работала не

покладая рук во благо империи Джеймса — Доком звали меня.

И потому, когда слышу подобное обращение, на автомате поворачиваю голову, при этом ровно каждый раз сталкиваясь взглядом с виновником. И желание стереть с его лица это выражение полное красноречивого, молчаливого превосходства всегда inferнально бьет по нервным окончаниям.

Потому что Доком звали меня. А этот неопрятный, почти незнакомый, обросший, словно первобытный пещерный человек, совершенно дикий внешне мужлан... отбирает со старта мое привычное имя. Вырывает ставший родным, и что уж скрывать — любимым за столько времени псевдо-руль из рук, дав понять и парочкой фраз и взглядом, кто здесь царь и бог в определенных блеклых стенах. Еще и намекает, что мои услуги тут не то чтобы очень нужны, когда слышит вполне резонные слова об отвратительной картотеке, точнее о ее полном отсутствии. Якобы у меня здесь цель одна — лечить Фюрера. Прооперировав, помогать реабилитироваться и восстановиться, попутно и с остальными больными работать. Мое дело лечить физические недуги, а не лечить его мозги. Мозги чертова Дока, словно они есть в его дикарской голове.

— Из-за плохой организации обязательной документации связанной с пациентами, я могла совершить непоправимую ошибку, уколов еще раз ударную дозу сильного антибиотика, что имело бы последствия, вероятно даже плачевные. — Очевидные, игнорируемые им вещи. Снова. Я заезженной пластинкой повторяю раз за разом, пусть и не каждый день, но все же о необходимости. Крайней, прошу заметить, необходимости, выполнить мою даже не просьбу, а требование, черт побери.

Только результата как не было, так и нет.

— Вероятно, — хмыкает, не поднимая глаз от собственного стола, где что-то там рассматривает, совершенно меня, стоящую в дверях его кабинета, игнорируя. И мне внимание, Дока внимание, откровенно говоря, совершенно без надобности. Но вопрос требует незамедлительного решения.

А ему все равно. Хотя возможно будет правильнее сказать — похуй. Очередному чертову мужику просто все равно, что озвучивает мой, по его мнению, явно бесполезный рот. И не будь у меня плачевного опыта с Джеймсом, игнорировать было бы проще. Но опыт был.

А внутри целостность утеряна слишком давно, чтобы пытаться в одночасье склеить каждый осколок, небрежно брошенный на самом дне души.

— Вам пора начать заводить дела на каждого бойца, подробно расписывая их анамнез. Хронические заболевания и далее по списку. Желательно еще и вести учет анализов, их регулярность и прививочный статус. Потому что я понимаю, что медицина в наше время не везде на уровне, но столбняку абсолютно на это плевать.

— Как и бешенству, — все тем же тоном добавляет и с тихим шипением что-то начинает плавиться перед его глазами, едва уловимый запах химикатов расплзается невесомой дымкой. А я злорадно желаю его бороде окунуться, во что бы там ни было, и сгореть к чертям. Ему всему следом. Чтобы не делал такое сосредоточенно-безразличное, безучастное до моих требований и жалоб лицо. — Перчатки не подашь? — Сама непосредственность. Говори ему, не говори ему. Он не спорит, он коротко отвечает и всем своим видом показывает насколько заинтересован. Хотя точнее будет сказать как раз не.

— Тебе нужно — ты и возьми, — раздраженно выдыхаю и разворачиваюсь на каблуках.

— Аналогично, — прилетает мне в спину.

— О чем ты? — приподнимаю бровь и, наконец, сталкиваюсь с его невозможно странным взглядом. Глубоким и темным. Взглядом, под которым хочется сжаться пружиной и выстрелить ему четко в глаз, прошив самодовольную голову насквозь.

— О картотеке. Тебе нужно — ты и занимайся.

— И вот это кстати, — делаю круговое движение вокруг своего подбородка, — давно хотела сказать... — короткая пауза, — не гигиенично. Твоя дикая поросль может попасть в открытую рану и начнется загноение, помимо того, что это просто не стерильно, некрасиво и делает из тебя мерзкого варвара, который вообще ни разу не похож на практикующего медика. Живет в доисторической пещере и таскается временами прибить мамонта, чтобы прокормить ровно таких же, как сам, дикарей.

Унижать или оскорблять не мое. Не настолько открыто и враждебно. Не настолько в лоб, прокатываясь по внешности. Но именно его хочется вот таким нижайшим образом хотя бы немного приспустить с возведенного им же самим пьедестала, куда тот уселся и сверху вниз смотрит на меня. Сука.

А мне хочется рычать.

— Может и не похож, — усмешка издевкой прошивает тонкие губы, которые слабо видны из-за безобразия на лице, — но практикую.

А меня окатывает кипяточным бешенством в секунду, заставляя с силой вытолкать свое тело за пределы его кабинета и выдохнуть, как мне кажется, паром. Бесит. Господи, меня настолько сильно вот так со старта не бесил, наверное, никто. Вообще никто. Особенно если учесть что количество различных мужчин, окружающих меня, растет с каждым днем все больше. И джентльменов среди них, дай бог, всего парочка скудных процентов. И бывало всякое, начиная с неуместного похабного флирта, до откровенного противного хамства.

Но чтобы вот так, и с первой же минуты знакомства, окунуть в неконтролируемый прилив бешенства?

Впервые.

Все началось с терракотового куска шелка под его ногами. С прямого контакта глаз и хриплого голоса, когда он представился Францем, но убедительно попросил звать его — просто Док. С запаха сигарет от его длинных волос и кожаной куртки, которым от него перманентно несет, вместе с древесной горечью, перечной жгучестью и ненормальным теплом.

Все началось с разделенной на двоих операционной, с крови на белоснежных халатах, с взаимопомощи молчаливой и без просьб. С аномального понимания и четкой, мгновенной реакции. С умения оставлять за дверями все лишнее — гасить вражду, убивать любую из эмоций. С профессионализма, которого в наше время безумно мало. С опыта, который оказался обширнее. Который оказался увлекательнее.

Все началось с того, что темные вишневые глаза сумели заклеить совершенно незаметно для меня самой.

Два месяца протеста внутри и к середине января я осознаю простейшее, очевиднейшее и в тоже время болезненное — убежав от одной из зависимостей — Джеймса, я не смогла сбежать от другой.

И пусть место незнакомое и по сей день, а в центр меня брать не желают, и обоснуют это тем, что и дорога опасна, и город не настолько безобиден, как кажется, на самой базе, при желании, можно найти все, что пожелает искушенная душа наркомана. Будь тот в завязке... или же без оной.

И если в Калифорнии Джеймс умудрялся держать меня на относительно, но поводке по части запрещенных препаратов, чаще проверяя мое состояние, чем родная обезумевшая мать.

То здесь. Здесь была свобода. Мнимая.

Потому что на деле я снова упала с головой в добровольное рабство. Подчиняясь предательскому желанию забыться, поверить в то, что все проходящее. Поверить в нормальность и собственную, и окружающих меня гнилых до самого дна людей. Просто поверить. Потому что думая, что все временно и станет иначе, вдруг поняла, что база — совершенно другой мир. Начиная с главы, заканчивая царящей мрачной атмосферой. На базе вдруг захотелось окунуться в забытье.

И таблетки привычно ложились на кончик языка, растворялись под ним, скользили по пищеводу. Порошок щекотал ноздри, раздражал слизистую, закладывал уши до тихого звона. Приятного и отрешенного. Глаза привычно прикрывались, легкость обманчивая, легкость искусственная, синтетическая, убийственная легкость заполняла полубовно. И мысли стихали. Чувства порой тоже.

Но с ними у меня всегда были сложности.

И с появлением в моей жизни наркотиков. Снова. Легче, увы, не стало.

С появлением Дока — тоже.

С приездом же Фила... я познала многогранность охватившего сумасшествия. Вдруг познакомилась лицом к лицу с чистейшим безумием чувств. Вдруг осязаемым. Вдруг откликнувшимся взаимностью.

Я не знала, что так бывает, когда встречаешь чей-то взгляд, и мгновенной вспышкой приходит осознание — человек твой от начала и до ебаного конца, каким бы тот ни был. Вы не сказали друг другу еще ни единого слова, но связь установилась, и вместо того чтобы спросить имя — говоришь «привет», и разговор завязывается будто между давними, сто лет друг друга знавшими, друзьями.

С ним стало легко спустя несколько минут. Спустя пару часов еще и комфортно максимально. Спустя несколько дней мне показалось, что база теперь мой чертов дом и отказ Джеймсу дался пусть и не на все сто легко, но незамедлительно.

Рядом с Филом оказалось не больно. Существовало тепло, приятным тембром голоса убаюкивающее мою мнительность, прогоняющее посещающие глупые мысли о незначительности и показывающее, что я ему, пусть это и не могло быть правдой, но дорога.

Он показал, как исключительно... и так необходимо мне — умеет обманывать. Искусно, до черной зависти и безумно, невероятно красиво. Видя, что он играет — все равно

намеренно верила каждой сладкой лжи. Которую он не скрывал, но оттого она была лишь более ценной и нужной.

Он показал, что значит — Убедить. Именно с большой буквы, потому что если Джеймс был игрок высшей лиги по многим параметрам, Филу в этом он проиграл. И это чертов дар, играючи словами, без давления и угроз сломить минимальное сопротивление, добиться желаемого результата. И что вызывало уважение, он это не скрывал. Как и не перебарщивал, прекрасно понимая, в какие из моментов это уместно.

Он не отвернулся, увидев мои зависимости и слабости, а окунулся в наш общий мир, и стал жить ровно так же, как и я, одним единственным синтетическим моментом.

Он оказался частично мной, только в мужском шрамированном теле, будто недостающий мне кусочек пазла или мутировавший из конечности — сиамский близнец.

Но он, как и Джеймс, был недоступен для меня морально. Его порабощенное Фюрером сердце гнило отвергнутыми чувствами в груди. Любовь, которая травила и убивала не только морально, но, как начало казаться, и физически. Потому что с каждым днем стало все более заметно, что жизнь в нем тает как прошлогодний снег, а бороться с этим он отказывается.

Без вины — виноватый. Убийца, предатель, инвалид. И мое личное синеглазое небо. Такой похожий в своих зависимостях, такой отрешенный и омертвевший, больной и физически и душевно — пробрался внутрь горько-сладкой пилюлей.

Сложно сказать, что повлияло сильнее, приезд Мадлен и волков или же появившийся Мельников младший, но невесомо, почти незаметно, база начала меняться.

— Ох, детка, тебе нужна помощь? — Рыжеволосая, страстная, в каком-то смысле любимая и, пожалуй, единственная подруга, если ее можно таковой считать, Мадлен была незаменима в одном, в том, что не мог дать ни Фил, ни Джеймс — она спрашивала и интересовалась, есть ли во мне желание что-либо менять. Или стоит не поднимать подобную тему, а просто сделать вид, что все идет, так как нужно, так как правильно. Хотя правильно и Мадлен — не синонимы. — Ты выглядишь как та, которой срочно нужен хороший, здоровый и крепкий стояк внутри. Немедленно причем. Чтобы вытряхнуть ровно каждую мысль, которая насилует твою умную головку. — Стучит острым ногтем мне в висок, заправляет выбившуюся из свободного хвоста прядь за ухо. Гладит по зализанным губам, не намекает. Не призывает. Сама видит, что баловство, такое привычное для нас за столько лет бок о бок, мне сейчас без нужды. Она вся, если откровенно, без особой нужды. А я стала слишком обесценивающейся находящихся рядом.

Кроме святых трех.

— Мне нужен бокал вина, пара часов на пляже под палящим солнцем и лимонный чизкейк. Если не имеешь ничего из вышеперечисленного под предложением о помощи, тогда нет, не нужна. Равно как и крепкий стояк. Особенно, если тот силиконовый. — Отшутиться? Не в нашем случае, дружба, живущая вопреки несовместимости характеров, давно научила говорить прямо и в лоб то, что думаешь, вместо того, чтобы юлить и ходить кругами. У нас изначально так и завелось. И виновато ли тут ее родство с Джеймсом или просто подобного поля ягоды мне особенно близки, но найти с ней общий язык оказалось проще, чем дышать.

— Здесь неплохо, — задумчиво наматывает прядь моих волос на палец и улыбается, завалившись на спину и прикрыв глаза. — Но мрачно. Правду ведь говорят, что всего лишь один единственный человек способен задать погоду в определенном месте. Что каков глава

— такова база. Похоже, здесь это работает.

— Он окружил себя ровно такими же людьми. Это не Калифорния, Мэдс, тут за каждым углом возможный пиздец и понятие безопасности условно. Спустия всего ничего по времени, я зашивала любовника Фюрера в операционной, с распиленной спиной на рельсах. А после — латала пулевые. Когда тот самый Мельников, что сейчас разгуливает среди нас, организовал нападение. И знаешь, что я тебе скажу?

— Мм?

— Была бы моя воля, я бы вогнала скальпель в висок большей части обитающих здесь. Они асоциальны, агрессивны, опасны не потенциально, а напрямую. Голодные, жадные, алчные ублюдки. Шакалы в прямом смысле этого слова, настоящие падальщики, которым чуждо большинство из привычного нам. Но...

— Но?

— Уезжать не хочется от слова «совсем». Вот такой парадокс.

— Ты влюблена. — Улыбается, так и не открыв глаза, а я замираю. Потому что скажи кто-то другой — стало бы смешно. Но сказала она — потому страшно. Ведь पहले меня, мою зависимость от Джеймса — заметила Мадлен. Она же посоветовала тогда не ввязываться, ведь ее брат и чувства не идут не то чтобы рядом, они даже не на одной улице, не в одном городе, не в этой чертовой вселенной. Он знает лишь выгоду. Ей живет. В нее верит. И пока ему есть выгода от человека — тот жив и рядом. Обратная сторона медали пахнет смертью и гнилью. Обратную сторону она посоветовала не призывать и туда не заглядывать. Совет я впитала, вросила в себя эти отравленные буквы, отпечатала на внутренней стороне век, чтобы никогда не забыть. Главное правило этого открывшегося мне мира, из которого не уйти, как ни пытайся — быть выгодной и желательно — конкурентоспособной. В идеале — умело изображающей глупость в необходимые моменты и слабость. Потому что в мире мужчин... сильная женщина — враг. Сильных женщин мужчины боятся. Хотя в тайне именно о «такой» рядом мечтают. — Кто он? — Поворачивает ко мне лицо и в момент, когда наши глаза встречаются — легкая дрожь медленно и леденяще скользит осознанием вдоль вибрирующих нервных окончаний. Осознанием, что сердце сумело поделиться на три равные части и однозначного ответа у меня для нее нет. Нет и для себя. Ведь любить троих одновременно кажется аномалией и глупостью.

Равно как и отрицать подобный расклад. Потому что ревновать просто друга и близкого человека к интересу, что проявляет по его душу Стас — глупо. А ревновать Франца к Лере. С которой он тут живет и работает кучу времени — подавно. Я не имею на них обоих прав, как и никогда не имела их на Джеймса. Что не мешало мне сгореть от отравляющего чувства. Чувства, что его всегда кто-то пытается забрать у меня, хотя тот и не мой.

И вот теперь придавленная к метафорической стене, брошенная в глубокий омут из мыслей, в коем-то веке почти кристально трезвая от любого из наркотических веществ, замираю и начинаю пристально присматриваться к каждому из проявлений чувств внутри кровотокающей сердцевины моей груди.

Так и не дав ей ответ, проигнорировав внимательный взгляд, уйдя в ванну и гипнотизируя стену напротив, покрываясь мурашками, ведь вода успела остыть, я мысленно совершила очередную ошибку.

Позднее, умудрившись совершить ее и буквально.

— Есть ли хоть что-то, что ты бы хотел изменить в своем прошлом? — Таблетка давно начала действовать, порошка не хотелось, а вот травка приятной сладостью воспалила рецепторы. Косяк, зажатый между моих пальцев, постоянно оказывается в руке Фила, а после возвращается обратно. А пьянящая легкость и вакуумность мыслей, в противовес кажущейся чистоте разума, дает обманчивое ощущение трезвости и сосредоточенности. Наверное, потому большинство из нас философствуют под алкоголем или наркотиками, ведь в такие моменты начинает казаться, что совсем рядом необходимое прозрение. И это опасно. Могло бы быть. Не будь я в одной комнате с Филом. Рядом с ним я знаю, что все будет хорошо. Всегда без исключений. Иначе невозможно.

— Это не имеет смысла. — Фыркает и укладывается на спину. А меня магнитом притягивает к нему, так привычно и правильно лицом в горячую шею. Носом в длинное золото волос, к запаху, что кажется замороженным и мятым. — Не проебись я в чем-то одном — проебался бы позже. И, возможно, еще более крупно. А рассуждать об ошибках, молчании или сказанном лишнем слове — долбоебизм чистой воды. Так что не забивай себе голову подобными мыслями. Никогда.

— Запрещаешь? — тихо слетает с губ. Глаза прикрыты. В теле такая расслабленность и нега, что хочется петь или плавно обтекать лежащего рядом. Ведь он теплый и нужный. Он такой мой в этот момент.

— Советую, — в тон отвечает и выпускает толстую струю сладковатого дыма из легких. Поворачивая свое лицо ко мне, сталкиваясь носами. Глаза с расплывшимся огромным зрачком кажутся черными в полумраке. Ночным небом. Моим небом.

И не будь в крови столько синтетического кайфа, я бы не потянулась, а он бы не ответил.

Уверенность в этом, как и оправдание собственному напору, мелькает на грани уплывающего сознания, когда губы влипают в его рот. И шепот с требованиями, вперемешку с извинениями, бисером рассыпается. Я игнорирую слова Фила о том, что не стоит снимать его майку. Он игнорирует мое желание не отпускать его от себя ни на миллиметр.

И не будь все и без того плачевно у меня внутри, я бы посмеялась над собственной глупостью. Но радость от его участливости и отсутствие отказа, такого демонстративного и прямого, как тот был от Джеймса, развязывают руки и толкают вперед.

Соблазнить гея возможно. Тот, кто верит в противоположное видимо слишком далек от психологии и от медицины как таковой. Ведь множество мужчин, имеющих определенные вкусы, вполне себе счастливо способны жить в тандеме с женщиной. Иметь детей, полноценную семью. Всю жизнь скрывать намеренно, или же нет, истинную природу сокровенных желаний.

Соблазнить гея вообще не достижение. Тот факт, что спустя долгое время взаимных ласк, моих неуместных слез, каких-то пьяно слетающих с языка просьб и туманных обещаний, я внезапно чувствую внутри себя не только его пальцы — а член, вышибает из реальности похлеще наркотиков.

И в этот миг, расщепленной вселенной поделенной на двоих, в блеске звезд на дне его небесного цвета глаз, я забываю о своем одиночестве, которое обглодало душу. И даю себе обманчивое ощущение принадлежности. Покоряясь его истинно-мужской силе.

И в этот миг, когда вкус его губ — амброзия, а движение внутри — анестезия, искрящая фейерверками и пульсирующая прозрачными пузырьками в крови, понимаю, что совершаю прекрасную, потрясающе-необходимую, но роковую ошибку.

Страшно подумать, как много можно внезапно обрести в другом человеке, еще недавно бывшем тебе совершенно незнакомым и чужим. Страшно подумать, что могло произойти, не появившись я в этом богом забытом месте. Страшно подумать, что я могла никогда его не узнать.

Страшно. Потому что глядя в глубокую, ярчайшую синеву глаз напротив, понимаю, что душа его глубже и шире, чем может представить человеческий мозг. При всей внешней отрешенности, там... внутри, огромное необъятное море чувств и неозвученных мыслей, там океаны боли, кроваво омывающие бьющееся сердце.

Его душа настолько огромна, что смогла бы поглотить целую вселенную разом. А может, и не одну. Возможно даже не десяток. Это то, что он скрывает то ли неосознанно, то ли специально. Показывая себя поверхностным похуистом, который клал свой и буквальный, и метафорический хуй ровно на каждого.

Фил концентрация чего-то по-настоящему особенного и уникального. Чего-то родного и понятного без слов, чего-то прохладного, но согревающего. Колкость слов, мягкость улыбки, нежелание что-либо менять... аура абсолютного застоя и отказа от движения. Болезненность, мучение и много, слишком много невысказанного сожаления, в котором тот не признается, никогда не скажет вслух, но пьяные звезды в ночном пасмурном небе его глаз кричат куда громче, чем простые человеческие слова.

Я бы хотела забрать его боль. Наполниться ей, словно угарным газом, задохнуться и впитать, чтобы моя собственная ушла. И тогда, быть может, мы оба сумели бы исцелиться.

Или нет.

Я бы хотела не знать, кто оставил ему незаживающие раны, которые годами фантомно нагнаиваются. Тянут, беспокоят и служат напоминанием.

Я бы хотела убить ровно каждого, кто причастен к слому такой потрясающей в своей многогранности личности. Я бы хотела убить его — Фюрера. Жестокое во всех возможных проявлениях человека, который на глазах того, кого отверг, любит, не скрываясь, другого. И посыпает белесыми кристаллами крупной соли незаживающие раны. Обжигает вниманием, как-то чересчур одержимо и будто красуясь, гордясь своим умением хлестать чужую душу издали, взглядом или брошенным словом. И пусть Фил молчит, пусть делает вид, что смирился и сумел двигаться дальше, я вижу, как сильно его ломает понимание невозвратности былого. Я вижу, как сильно он бы этого хотел. И как сильно будет спорить и отрицать, стоит лишь мне озвучить подобные вопросы вслух.

Смотреть на мучение того, кого любишь не намного хуже, чем молчать, не имея права озвучить важнейшую информацию. И пусть молчание, это то, что я научилась очень давно хранить. В нашем случае... оно отравило и без того болезненное нутро и превратилось в постоянно подергивающийся нарыв.

У Фила есть брат. Родная кровь, которая смотрит своими странными глазами и, тихо ревнуя, ненавидит беспричинно, за сам факт совместного прошлого с главой базы. Чертов младший Басов как картинка шастает тут среди своры шакалов, ослепляя каким-то паранормальным светом, что искрится из глубины его незапятнанной души.

У Фила есть брат. И мне нужно, совершив ряд манипуляций, вложить это знание в голову Дока, а дальше уже все пойдет своим чередом. Чередом, который четко спланировал и очень давно воплощает в жизнь Джеймс. Разыгрывая только ему известную до конца партию. Пусть я и посвящена в большинство его интриг, понять полностью, в чем же смысл,

даже спустя много лет бок о бок, порой бывает непросто.

Когда-то он в буквальном смысле этого слова уложил меня в постель младшего из Лавровых, что было не худшим опытом в физическом плане. Но довольно унижительным по многим параметрам. Я не сопротивлялась поручениям Джеймса, всегда следуя его якобы просьбам, звучащим как четкие приказы командира. Делала то, что нужно. Убивала, если потребуется, спасала, подставлялась, внедрялась, сидела в тени.

Девочка, любящая острые шпильки и такие же острые скальпели. Идеальный маникюр, яркую помаду и крепкий кофе. Девочка, которая идеальная сука внешне, блестящая картинка с глазами стервы. Девочка... сломанная, раздробленная в крошево, стертая внутри в порошок. Порошок же и нюхающая, ведь только под ним все кажется чуть менее мрачным и чуть более живым и внутри, и снаружи. Девочка — зависимость. Непроходящая. И от людей, и от наркотиков. Девочка, которой слегка за тридцать, с душой старухи, мозгами сдвинутой напроць и болящим сердцем. Она та, кто давно должна разучиться любить, но любит так сильно и сокрушительно сразу нескольких, бросаясь в это все, как в омут — сразу же и с головой.

— О чем задумалась? — Шепот — интимное проявление привязанности или способ пробудить какую-либо из физических реакций. В нашем же случае с Филом — не напугать. Такая взаимная до одурения привычка выпадать из реальности и погружаться в себя, порой становится практически фатальной ошибкой, ведь не понимающие твое состояние люди довольно часто громко и резко выдергивают тебя из этого озера мыслей. Что наносит мизерными порциями, но вред и без того сломанной к чертям психике. Он это знает. Знаю и я, потому всегда благодарна такой осторожности и пониманию.

— О необъятности и многогранности твоей личности, мой идеальный лжец. — Крепкая рука обхватывает мне плечи, и я чувствую спиной первый из взаимных ударов наших сердец. — Ты начнешь спорить, если я скажу напрямую о моих планах. Потом будешь злиться, ведь давно привык к такому раскладу и все решил для себя. После укажешь на мое место, отправив латать кучу шакалов или убить ровно каждого тем же скальпелем. Но...

— Но?

— Но я все же рискну.

— Нет.

Очередной разговор о том, чтобы сделать ему операцию, о том, чтобы исправить нанесенный когда-то вред, о том, чтобы облегчить его жизнь... заканчивается однотипным и резким ответом. Я заходила с разных сторон. В разные же моменты, убеждала, объясняла, обещала. Получая постоянно это раздражающе четкое и бескомпромиссное — нет. Обижающее, но не потому, что он отказывает именно мне, обидное, ведь отказывает он самому себе в первую очередь. Совершенно забивший на здоровье, которое хрупкое, как хрустальная ножка бокала.

Очередной разговор, который толкает меня к необдуманному словам. Или, может, как раз наоборот, к слишком хорошо продуманному. Потому что я бью точно и больно с первого же раза.

— Если ты решил медленно, но верно, убить себя, тогда я — убью его. И мне плевать на последствия. Крохам своей семьи я слишком давно не нужна. Для Джеймса совершенно заменима. А мне терять нечего, кроме тебя, — по острому стеклу его цветного взгляда я понимаю, что Фил знает, кто скрывается под призрачным «его». Есть лишь один единственный наш общий знакомый, кто настолько ненормально дорог ему, что он скорее

подставится под пулю сам, чем причинит тому вред. — Я смогу убить его быстро и легко, и пусть умру следом, но это будет последним и безумно приятным моим поступком. Возможно самым верным из принятых решений.

— Хорошо, — отходит и закуривает. Расплывается в ядовитой дымке фантомной улыбки, облизав свои красивые розовые губы. — Делай свою ебаную операцию, можешь, как карты, перетасовать все сраные органы в моем теле, или добавить парочку новых, но больше никогда, слышишь меня, девочка? Никогда не смей угрожать мне его смертью. Ее я не прошу даже тебе.

— Ладно, — капитулируя, с дрожащим сердцем внутри, что начало захлебываться тахикардией, подняв руки — сдаваясь под его тяжелым взглядом, я соглашаюсь. Однако поднимающаяся волна искреннего волнения от моей грандиозной победы, просачивается искрами счастья на дне начинающих слезиться глаз, и он это видит. Но именно сейчас успокаивать не будет, потому что я провернула очень подлый и нечестный трюк, даже не попытавшись это скрыть. Нанесла ему порез, по и без того кровоточащей ране, и ему нужно время, возможно — много времени, чтобы простить. Но согласие получено, а значит, нужно разбираться с насущным — поисками хорошей операционной, ассистентами при настолько сложной операции и прочих совершенно обыденных для медика вещах.

Но планы это одно. Воплощение совершенно иное.

Внезапно над нами словно сгущается туча, непонятно с какой из сторон подъехавшие перемены кромсают привычную мрачную атмосферу. Рвут ее на неровные клочья, и в глазах людей плещется непонимание вкупе с легкой паникой. Потому что Фюрер, такой привычный, дерзкий, страшный в чем-то человек, но вызывающий уважение вопреки всему... Кажется абсолютно, бесповоротно, совершенно мертвым. Передвигаясь среди нас, он словно тень самого себя, с необъятной чернотой впавших глаз, вдруг ощущается иначе — ожившим мертвецом, который лишился сердца, а оттого и чувств.

Базу сотрясают перестройки. Народ тасуется неровной колодой, странные новые лица появляются куда чаще привычных за эти месяцы. Территория перестраивается, гибнут люди, льется кровь, а воздух заполнен запахом боли. Его боли, потому что правду говорят о том, что база — это ее глава.

И меня по большей части не пугает ни одна из перемен. Привыкшая к смерти бродящей бок о бок, давно перестала замечать вот такую нависшую над всеми перманентную угрозу.

Меня испугало другое — Фил, самопожертвованно и как-то отчаянно бросившийся спасать того, кто уже мертв. Убивая при этом себя. Намеренно, упрямо, забыв совершенно и об обещании, и как начало казаться — обо мне. Вытаскивая из дерьма раз за разом срывающегося Макса, он игнорировал растущий во мне темный нарыв, а я не смогла сидеть ровно и вылила копящуюся неизбежность на очередного мужчину из святых трех.

Франц оказался как никогда кстати, своим задумчивым видом привлекающий похлеще идеальной кукольности Фила. Молчаливый по большей части, обитающий в своем кабинете или в оранжерее в дальнем корпусе. Со ставшей какой-то тоскливо привычной внешностью неотесанного аборигена, вдруг стал в моих глазах удивительно по-мужски красивым. И если ранее он привлекал умом, опытом и профессионализмом, возбуждая скорее мозги, чем тело. Оставленная сама себе, я вдруг отозвалась на его истинную сущность всем своим существом. И одиночество бросило к нему навстречу, как на чертовы рельсы под движущийся на скорости поезд. Мне стало жизненно важно проверить тот самый блеск его вишневого глаза лишь дань красивой внешности или я могу рассчитывать на небезразличие, а значит пару

капель искусственного тепла.

Ведь синтетическое... слабо греет, когда в одиночку.

Думать о том, как бы более естественно подвернуться под руку... не пришлось. Все произошло само собой. Стоило мне чуть сбавить привычную ауру неукротимой суки и выпустить на волю вечно отвергнутую, но оттого не менее кошку. Пусть та и черная...

Темными ночами, чаще всего абсолютно одинокими, Франц любил тренироваться в зале, подолгу таская железо, с поблескивающими в ушах наушниками. Бессовестно полуголый, примагничивающий к себе намертво взгляд своей влажной, расписанной татуировками кожей. И кажущийся горячим воплощением адского, мать его, пекла на нашей брэнной земле. Потому что тепло, которое он как нескончаемый источник излучает, долетает и проникает в меня... несмотря на расстояние между нами. Оно осязаемо. Как и его пряный запах.

И если к Филу меня никогда именно в сексуальном плане не тянуло. Несмотря на то, что тело его привлекательно и там явно есть на что посмотреть. От него, моего персонального бездонного неба, крайне банально и совершенно эгоистично хотелось знакомого, приятного, такого доступного именно для меня... тепла.

То внешность Франца и его аура обжигала, что-то глубоко внутри растапливая до вязко-жидкого состояния. Запуская цепную реакцию в организме.

Фила хотелось обтекать прохладной водой, сливаться и медитативно уплывать куда-то глубоко. Куда глубже, чем привычно в обычном состоянии. Подгоняемыми в спину синтетическим, искусственным счастьем — проникать друг в друга, становясь чем-то иным.

Под Франца же вспыхивало нестерпимое желание прогнуться и об него же оплавиться, стекая багрово-коричневыми каплями меди на пол. Под ним захотелось стонать от его силы, во всех смыслах этого слова. Под него. Именно, черт возьми, под него захотелось лечь. Вот так примитивно и по-животному. Толком ничего не зная ни о его натуре, ни о характере, лишь наблюдая украдкой и делая, вероятно, абсолютно ошибочные выводы. Захотелось прижаться, выгнув спину, потереться течной сукой. Его вдруг слишком сильно захотелось. Но страх отказа щекотал на задворках, посылая мелкую дрожь в кончики пальцев.

— Тебе недостаточно проблем с позвоночником? — Мысли порой оказывают медвежью услугу, упав в этот водоворот, пусть и думала как раз о том, кто теперь стоит позади, умудрилась отвлечься настолько, что не услышала приближения. Пусть и последние полчаса активно сигнализировала ему всем своим видом о готовности... к чему бы там ни было. Мужчины это чувствуют.

Почувствовал и он.

— Что ты можешь о них знать, Франц? — Взбудораженная мыслью образами его в подозрительно приятной близости, интимной и сладкой. Подгоняемая голодом до тепла и ласки, вместо опостылевшего холода. Тихим рокотом произношу настолько сильно неподходящее ему имя.

Он должен был быть кем-то вроде Джеймса, с зачесанными волосами в гладкий хвост на затылке, в костюме тройке, с начищенными туфлями, в блестящих носках которых можно увидеть свое отражение, как в зеркале. А усы лоснились бы от дорогих уходовых масел, вместе с кучерявой ровной бородкой. Такой себе мафиози, угрожающий темным взглядом из-под раскидистых бровей.

Но.

Он полуголый, в темных спортивных штанах. Босой почему-то. С растрепанным хвостом и падающими на лицо завитками кажущихся черными в приглушенном освещении волос. Я рассмотрела ровно каждый миллиметр его фигуры, пока он таскал штанги. Следя за игрой мышц под поблескивающей от пота кожей лопаток. За прозрачными каплями, стекающими вдоль позвонков к поясу низко сидящих штанов. И их хотелось слизать, чтобы на губах был вкус соли. Вкус мужчины. В него хотелось влипнуть лицом, дышать, хрипеть, ловить каждую появившуюся мурашку кончиком языка. Водить прохладными подушечками, рисовать круги, линии и зигзаги острыми ногтями и кайфовать от своих отметок-царапин на мягкой, гладкой коже. Покориться. Отдаться. И впитывать это удовольствие взаимное от обладания... его обладания... мной.

И не пугает тот факт, что никому ненужная влюбленность, самовольно и нагло прогрессирует, переходя от восхищения его цепким и блестящим умом, наслаиваясь на физическое нестерпимое, какое-то греховное притяжение. Все усугубляется. Пугающе. Сильно и стремительно. Слишком быстро. Просто слишком. И, быть может, всему виной оставивший меня без внимания Фил. Или же концентрация тестостерона вокруг, нарастающая с каждым днем...

Но истина такова: все становится хуже, глубже, серьезнее и губительнее в моем случае. А бороться с собой — нет сил. На борьбу, именно на нее, их совсем не осталось.

— Если бы ты была внимательна, то знала бы, что я — профессиональный мануальщик. И ровно настолько же хороший остеопат. Потому прекрасно вижу, что твоя спина, и не только она, требуют внимания. Но если ты хочешь в очередной раз свести все к спору, то я — пойду отсюда нахрен. Сию же секунду. — Хрипотца сочная, гортанная, чуть скрипучая, вкупе с резкими словами и выставленными им акцентами словно поглаживание вдоль спины. Порочная, грубая ласка. Шершавая и по шее бегут мурашки, а веки опускаются сами собой на пару секунд, потому что я чувствую, как он дергается совсем рядом. Когда выпрямляюсь рядом с планкой, на которой висела, вытягивая свое многострадальное тело. Чувствую нестерпимый, буквально полыхающий, словно раскаленная печь — жар от стоящего рядом Франца. Чувствую почему-то его. Каждой своей клеточкой чувствую. И отпускать не хочется. Спорить, разговаривать, прерывать этот момент, что логично, тоже.

— Тогда помоги, — очень простые слова. Много затоптанной гордости. Полная капитуляция перед своими желаниями, потому разыгранная слабость сейчас почти искренняя. Почти без примесей искусственной игры. Он нужен мне. Незамедлительно и весь, целиком и полностью. Чтобы утонуть в обманчивом ощущении необходимости на один короткий миг. Чтобы нужда была осязаемой. Живой и пульсирующей вокруг наших тел и внутри них — тоже. Черпнуть энергии, наполниться им, забыться не в синтетической обманчивой неге, а в реальном удовольствии. Которое не первостепенно как таковое. Ведь мне нужен секс отнюдь не ради самого секса. Мне просто нужен теснейший из возможных, доступных контактов. Жизненно важно нужен.

Но вместо того, чтобы, как мне казалось, абсолютно по-дикарски нагнуть и взять, то, что лежит предложенное на ладони, он прижимает плавным движением к своей влажной груди мою покрывшуюся мурашками спину. Едва слышно выдыхает горячим, плавящим комком дыхания куда-то в изгиб шеи концентрат самого себя, который проникает в мои поры и напитывает — согревает. Дышит вот так спокойно, властно, горячо и чувственно. Щекоча мягкими волосами... А меня накрывает и на чистом инстинкте — задница врежется

в его крепнувший стояк. Вминается в него как влитая, словно для того и была рождена, чтобы идеально подойти ему в этой позе и выдох приходится сгрызть с вмиг пересохших губ. Самой. Потому что Франц не целует, не лижет мне кожу, не действует потребительски, не прогибает, не унижает, бросая власть надо мной в этот момент прямо мне же в лицо. Не пытается мстить за былое. Не насмехается и не издевается. Он мягкой, обезоруживающей лаской скользит по каждому изгибу. Изучающе и чертовски медленно. Словно знакомясь со мной вот так — прикосновениями. Проникает под топ, неспешно оглаживает затвердевший сосок, взвешивает в горячей ладони грудь. И совершенно по-садистки ведет большим пальцем к линии спортивных лосин. Долгие двадцать секунд, а я отсчитываю каждую. Они набатом бьются в висках, заикливо, гипнозом. Пока рука его не проникает под тонкую материю белья всей своей широкой ладонью и без промедления между влажных гладких губ. С силой проехавшись по дернувшемуся от нажима клитору. Просто берет и вставляет до самых костяшек. Сразу два.

Меня трахали руками и мужчины, и женщины. Сексуальный опыт имеется довольно обширный, но настолько чувственных и правильных движений мне не приходилось ощущать. Ни разу. Его рука творит божественное нечто в том месте, где давно не должно быть никаких открытий. В моем-то возрасте. Но, тем не менее, я не выдерживаю и пары минут. Ноги подгибаются, тело дрожит и оседает, будто подкошенное, ослабевшее. Мысли в густом вязком вареве, в непроглядном тумане, мозг — чертов кисель, словно я умудрилась вдохнуть с раскаленным вокруг нас кислородом еще и ангельской пыли. Да так, что сразу же глубоко в легкие ударной дозой. И так давит что-то незнакомо-знакомое в груди. Так першит каждый выдох в пересыхающей глотке... И нет никаких сил даже моргать, но бедра, словно созданный им механизм, заточенные именно под него, в идеально подобранном ритме двигаются, насаживаясь на сводящие с ума пальцы.

Мне мало. Его всего в этот момент мало, но в то же время чудовищно много. Не целуя, не произнося вообще ни слова, ни звука, он просто имеет меня, показывая свою абсолютную власть. И это именно то, что было так сильно нужно. Обжигающий жар влажной кожи, сильный уверенный стук чужого сердца в лопатки и руки. Божественные руки, невозможные руки — руки, в которых хочется от удовольствия умереть.

И вот так... плененная, упираясь затылком в него, извиваясь полуонемевшим телом, будто змея, крупно дрожа и вздрагивая от того, как сокращается и пульсирует все внутри — кончаю. Так ярко, будто сотни фейерверков взрываются и под веками, и в ушах, и в тонких измученных венах, растворяясь дымным удовольствием во вскипевшей от наслаждения крови.

Но, самое парадоксальное в произошедшем не то, что он натянул меня на свою руку как перчатку, вероятно самодовольно потешив блядское мужское самолюбие. Парадоксально другое — спустя несколько минут, пока я приходила в себя, все еще в его руках... он медленно отстранился, а после просто молча ушел.

А мне в противовес той легкости, что накрыла после полученной дозы тепла, вдруг стало холодно и тускло. Захотелось, забившись в темной комнате — глупо плакать, чего не позволяла себе почти никогда. Захотелось разгромить полбазы, выпустить целую обойму в манекен, исполосовать тот острым скальпелем, а после порезать к чертям свои же руки. Мелкими, жалящими, неглубокими полосками до самой шеи. А потом перейти на бедра и пометить каждый миллиметр до лодыжек. Захотелось боли и крови, захотелось долбанной дозы, и не просто вдохнуть или растворить на корне или под языком. Захотелось жалящего

яда глубоко в вену, чтобы вспенилась алая, закипела, и разорвало гребанное чувствующее сердце. Потому что одиночество не просто холодное промерзшее море, оно густое болото, с стягивающей в себя трясинной, спутывающей ноги, всасывающее на глубину и убивающее.

И это отдается знакомым откатом, как после контактов с Джеймсом, когда мне хотелось расцарапать сразу его, а после и свое лицо к чертовой матери. Что дает кристально чистое понимание... что «нечто», возникшее без моего же согласия в сторону человека, который с первых же минут не вызвал ни единой положительной эмоции. Схоже не с теми окрыляюще-искристыми чувствами, которые пробудил Фил, а с пропастью, в которую я упала следом за поманившим меня туда Джеймсом. И это пугает, ровно это же и притягивает куда сильнее, чем мне бы того хотелось.

Прятать порезы под длинными рукавами блузки куда проще, чем пытаться быстро натянуть на них рабочий халат, заменивший форму, в которой я зашивала только прооперированного бойца. Скрыть следы преступления против самой себя от не шибко-то и любопытной Леры одно, но остро полоснувший пониманием взгляд Франца — совершенно, мать его, другое.

После той злополучной или все же знаменательной, это смотря с какой стороны посмотреть, ночи... прошло ни много, ни мало около полутора недель. В течение которых я занудно, откровенно ноя и угрожая всем на чем свет стоит, уламывала Фила назначить дату операции. Преуспев же, пришлось договариваться о помещении, ибо провести все можно хоть на базе, но здесь есть не все оборудование для экстренных мер. Ведь если что-то пойдет не так, понадобится реанимационная палата. А пойти не так, на самом деле, может слишком многое. Потому что по-хорошему мне предстоит перелопатить все его внутренности и разложить те по местам заново, избавив от, пусть и привычной, но дискомфортной стомы. Убрал кучу сопутствующего дерьма. В данном случае — метафорического.

И нет нужды в словах, когда я смотрю в синеву глаз напротив, что лучатся доверием, вероятно, незаслуженным. Нет нужды в обещаниях или прощаниях. Работы предстоит много, но страха потери нет, а значит, что может пойти не так?

Оказывается — многое. Понимаю, когда в середине процесса мои руки начинают мелко дрожать от волнения. Дрожать под вишневым внимательным взглядом. И я проклинаяю и себя, и его, и нас всех вместе взятых за то, что решила не принимать ничего перед входом в широкую дверь операционной. Побоявшись откатов или слишком сильной/слабой реакции на наркотик под действием сильнейшего стресса. И вот, теперь меня ломает от ужаса собственных, местами ошибочных, но пока никак не вредящих Филу действий и легкой панической атаки. Пока что легкой.

— Передохни пару минут, они ничего не решат, — голос без оттенков, профессиональный, разумный, спокойный и тихий настигает как гром среди ясного неба. Вздрагиваю я, вздрагивает и зажим в моей руке. Смотреть на него нет сил, смотреть на раскрытое, словно огромная книга, туловище одного из самых дорогих мне людей... тоже.

И в голове звучит заученный когда-то и надоедливый, менторский голос отца: нельзя проводить серьезные хирургические манипуляции с лицом, являющимся объектом, который вызывает сильнейшую эмоциональную привязку, способный вызвать во время процесса приступ панической атаки. Связанной с мыслью о том, что если произойдет непредвиденное, то лицо, находящееся на столе, может умереть. Нельзя резать того, кто тебе дорог. Является кровным родственником, супругом, другом, хоть чертовой кошкой. Нельзя.

Для этого есть широкий спектр прекрасных специалистов, которые хладнокровно, словно роботы, сделают привычную для них работу на первоклассном уровне.

Нельзя.

Но доверять кому-либо я не привыкла, кажется, с самого рождения. Нелюбимый ребенок, старший, незапланированный, болезненный. Нелюбимый потому, что не сын. Потому, что не отдать в спортивную секцию. Потому, что не станет уважаемым членом какого-то там тошнотворно-ахуенного клуба, в котором собираются пафосные доктора наук и рассуждают на тему: кому и что они пришили или отрезали, и в каком количестве, получив за это баснословные суммы. Потому что девочка в мире наглых мальчиков — размазанная по стене сопля. Потому что девушка пытающаяся доказать, что не глупее одноклассника и пишущая одну за другой докторские — просто выскочка. А защитившая чудом диплом, и не потому, что подставилась под куратора — явно проплатила все, и не стоит обращать на нее свое внимание. Потому что женщина в мире мужчин априори набирает парой десятков очков меньше, только лишь из-за отсутствия необходимого причиндала между ног.

Потому что все вокруг всегда против или же сопротивляется и не идет желанно в руки. Ни должность, ни люди, ни признание, ни чувства.

Потому что. И это аргумент.

Потому что только что, в операционной, налажала над телом того, кто стал если не всем, то многим. Потому что там снова, я — единственная у кого есть вагина и сиськи. И взгляды, прожигающие спину, когда я выхожу оттуда отдышаться, буквально орут красноречиво и громко, что не стоило многого, собственно, ожидать. Потому что только лишь имя сраного Джеймса останавливает их от насмешек. Потому что уважение заслужить все еще сложно, спустя столько лет, спустя огромного количества личных достижений, спустя все, что пришлось пережить, я все еще просто ходячая, мать его, вагина. С полным отсутствием навыков и мозгов. Для всех, кроме узкого круга людей, которым давным-давно все необходимое показала и доказала.

И блистер оказывается в руке в секунды, несколько гладких таблеток щекотно касаются кожи, а после — отправляются в рот, где вместе со слюной проникают сразу в плотку, а после — в пищевод. Но пружина напряжения не отпускает.

Я налажала. И мне же это нужно исправить. Мне же, после, расплосовать собственные кривые руки острым скальпелем, прямо по тошнотворно дрожащим пальцам, которые сейчас играют со мной свою чертову игру. Тело предает, предают и мысли. А времени предаваться рефлексии и самобичеванию нет. Ни единой лишней минуты. Пока Фил лежит на холодном столе рядом с людьми, которые к нему, чуть более чем полностью, безразличны.

Но... синтетическое чудо, проникающее в кровь — искусственно успокаивает. Дрожь покидает тело, мысли прочищаются, словно кто-то устроил в голове сквозняк, раскрыв створки настежь. Взгляд фокусируется, сомнения покидают, и совершенно не волнует подозрительный блеск в вишневых глазах напротив. Я заканчиваю операцию с потрясающим результатом, сумев восстановить большую часть все еще, к счастью, функционирующего кишечника. Убираю множество спаек, кисты, грыжи и, довольная на девяносто процентов из ста проделанной работой, наконец, начинаю зашивать распластанное под моими руками тело.

Однако. Забыв совершенно о времени действия препаратов, естественно упустив из внимания, сколько часов на ногах, абсолютно забив на себя и вообще кого-либо, кроме Фила и результата, упускаю момент, когда начинается гребанный откат.

Не упускает момент Франц. Забирая из моих рук иглу и молча доделывая мою, черт возьми, работу. А я выскакиваю из помещения, словно ужаленная ядовитой змеей куда-то в районе сердца. Выскакиваю, начав задыхаться, мгновенно ощущая в секунды обрушившуюся на меня неподъемным грузом усталость и дрожь. А в глазах плывет от подступающих слез, через которые хочет прорваться разочарование в себе. Очередное. И страх. Понимание, что могла совершить непоправимое, но простить проеб после, уже не было бы сил. Простить снова, ведь тогда под моими руками был хотя бы незнакомый человек, пусть точно так же дышащий и живой. А теперь пострадать мог аномально близкий и совершенно свой от начала и до конца.

Господи...

Выдыхаю судорожно, касаясь лица и стаскивая чертову маску. Запускаю пальцы в волосы, с силой оттягивая, до боли в корнях, отшвыривая резинку куда-то под ноги, буквально сдираю с себя вещи по пути в душевую. Но прежде чем осознаю, что ноги больше не держат меня, а рядом горчит ставший знакомым пряный запах чужого тела, влипаю спиной в холодный кафель.

Вода обрушивается сверху сильным потоком. Прохладная, горячая, холодная. Поочередно. И от перепадов температур пульс зашкаливает. Зашкаливает и ощущения кожи к коже.

— Дыши, — зашкаливают и вспыхнувшие эмоции, когда Франц отдает мне, как взбесившейся суке, команду, и я послушно начинаю делать пробные вдохи, глядя в темные, спокойные глаза напротив. — Дыши со мной, — и грудная клетка его будто путеводитель, будто чертов компас, навигатор для потерявшейся меня. И это так просто — отдаться чужой власти и выполнять четкие приказы. Это так просто — смотреть в наливающиеся тьмой зрачки, расширяющиеся и черные, словно дотлевший и потухнувший навечно ад. Смотреть, как в нем пробуждается первобытный инстинкт, как он прижимает меня с каждой секундой сильнее. И нет ничего правильнее моего громкого стога в распахнутый рот напротив, когда ощущаю абсолютно точно не фантомную наполненность.

Его член это нечто потрясающее. В меру толстый, в меру длинный, налитой и рельефный он массирует каждую стенку, мягко ударяя в шейку матки, и от ощущения всего разом меня почти выбрасывает за грани сознания. Все еще взбудораженная наркотиками психика отказывает. Мне хорошо настолько, насколько это вообще в моем состоянии возможно. И мягкие, как оказалось, очень мягкие волосы на его щеках, на подбородке и над губами вызывают трепет вместо ожидаемого отторжения. И удивляет его сопротивление, когда придвигаюсь ближе, когда тянусь целовать этот такой близкий, но в то же время далекий почему-то рот. Удивляет, потому что, что может быть лучше, чем целовать того, кто дарит ощущение найденного внезапно дома? Уютный и горячий, такой подходящий, такой подавляющий, но в тоже время именно он вдыхает в мою пустынно-погибающую душу жизнь.

— Прекрати, — выдыхаю, и с силой дергаю к себе за затылок, впиваясь ногтями в кожу, сжимая в кулаке мокрые волосы, влипаю в его губы. Облизывая и буквально насилуя открывшийся навстречу рот, громко и совершенно безобразно пошло выстанывая какую-то дрожашую трель.

Но мне мало. Его всего сейчас снова мало. Хочется проникнуть под кожу, просочиться в него и отогреться, наконец, целиком. Быть чьей-то не только в моменте — всегда. Быть нужной, а не просто пульсирующей дыркой мышц, плотно обхватывающей член —

личностью, которая стоит чего-то, кроме пары минут секса. Быть той, кому он хотел бы дарить свое обжигающее тепло. И пусть в данную секунду Франц со мной и безотказен... после стопроцентно уйдет, как и все уходили. Оставив наедине с громкими мыслями, болью и одиночеством, которое снова утопит, которое боится лишь моей крови. Что прольется, иначе никак.

И вместе с оргазмом из глаз срываются слезы. Слезы, которые под струями душа потеряны от его глаз, слезы, которые ядовито, будто кислота, обжигают мне душу. Слезы. Потому что когда он кончает во мне, долго целуя, связь прерывается. Слезы, ведь всего через каких-то полчаса я сижу одна в кабинете, а он в пути на базу. Слезы, ведь как бы ни хотелось — не нужна.

Лишь спустя несколько месяцев жизни на новом месте я внезапно осознала, что все столь давно привычное мне исчезло... И сбилась с ритма. Выстроенная модель существования в этом прогнившем до самого дна мире, ровно с такими же людьми, рухнула. Казалось, что основное правило — двигаться только вперед, по заранее выбранной траектории. Что планирование — важнейшая из вещей. Но оглядываясь на прожитые дни, на выстраиваемые совершенно разные отношения, с совершенно разными же мужчинами, с ужасом понимаю, что планировать как раз и перестала. И сказать, что топчусь на месте без особых телодвижений — не могу, но все же ступоры случаются. А ступоры — потеря времени, потеря времени в каком-то смысле — маленькая смерть.

Люди, не имеющие никаких психологических проблем, славящиеся своим ментальным здоровьем и трезвостью ничем необожженного ума, никогда не поймут, как сложно бывает тем, кто ежедневно борется с демонами, скрывая это глубоко внутри и подальше от чужих глаз. Как сложно молчать, громко и истерически крича где-то за толстыми стенами натренированных к подобному нервов. Когда улыбаешься холодно, когда понимаешь, что в глазах напротив — чистокровная сука и блядская стерва с завышенным самомнением, а на деле... на деле рассыпавшаяся в крошево, стертая в порошок слишком давно, и, кажется, уже без шанса на восстановление.

Только вот, как по мне, сломленность личности, потеря целостности и боль не самое страшное. Куда страшнее — потеря контроля над происходящим. А на базе я его слишком быстро и безвозвратно потеряла.

После операции Фила стали ясны сразу несколько вещей: он не умеет болеть совершенно, постоянно пытаюсь вырваться из-под опеки; он слишком хорошо маскирует уровень испытываемой боли; и зависим не меньше, чем я, от препаратов. И неважно: это синтетический наркотик или сильное обезболивающее. Ему все равно: больно или нет, ему просто нужна капля кайфа в крови. Точка.

И если с некоторыми вещами мириться оказывается легко, то держать его подальше от дерьма, творящегося на базе — невероятно сложно.

Он сопротивляется словно демон, шипящий и агонизирующий от святой воды, когда умоляю остаться на реабилитацию в клинике. Угрожает, что прикончит парочку немилых медсестер и съебется в любом из случаев обратно на базу, потому что там Макс, у которого крышу не просто сорвало напрочь. Крыши теперь попросту нет. Как нет и тормоза. Сдерживать кого-то вроде Фюрера, как по мне, вообще не то чтобы неблагодарное дело, оно смертельно опасное и провальное по всем параметрам. Получивший ударную дозу плохо переносимой им боли, он сорвался с цепи, забив на всех, кто находится рядом. Но, в первую очередь — он забил на себя. А это грозит неоправданными рисками в лучшем случае. В худшем? В худшем: такая личность, как Лавров Максим Валерьевич, вполне возможно скоро окажется в холодной земле, под тяжелой гранитной плитой.

И если для меня подобный расклад не сказать что желателен, но не вызовет бурной реакции. То подобного я не могу сказать о Филе, а его состояние меня волнует. Очень. Быть может, слишком.

— Тебе нельзя давать большие нагрузки на пресс. Мышечный корсет... — запинаясь,

наткнувшись на твердость взгляда и сведенные брови. — За ним сейчас находятся твои заживающие после вмешательства органы и по-хорошему: постельный режим, с редкими физическими нагрузками — самый желательный расклад, для человека в твоём положении, Фил. Пожалуйста.

— Он, сука, убивается на моих глазах. И если Гонсалес еще пытается с Францем помочь, Стас прикрывает, то только я могу, на самом деле, понять его от начала и до ебаного конца, Вест. Потому не проси отойти в сторону и, отлеживаясь в блядской мягкой постели, наблюдать, как тот укладывается трижды на дно в сраную могилу, которых выкопано для него с сотню.

Открываю было рот, чтобы возразить, но не успеваю даже прошипеть ни звука сквозь стиснутые зубы.

— И не смотри на меня так. Хватило уже того, что ты шантажом заставила меня сейчас быть совершенно не в форме для большинства вещей, которые мне нужно сделать. Ты знаешь, сколько у него врагов? Ты понимаешь, что его могут легко убрать, только потому, что у сукина сына вырубился инстинкт самосохранения? Ты понимаешь, что человек, готовый умереть в любую секунду, которому совершенно похуй, как и когда это сделать, чаще всего очень быстро и глупо умирает? И ты не пойдешь к нему, чтобы поиметь его и без того совершенно болезненно выебанный мозг. Ты не сделаешь ничего, Вест, вообще ничего, кроме заботы о таком инвалиде как я. И заботе в коем-то веке о себе. — Берет мою руку, довольно грубо сжав за запястье, задирает резко рукав тонкой блузки, открывая для нас обоих обзор на исполосованную тонкими порезами-царапинами кожу. И дав понять свое отношение к этому, просто отшвыривает ее, та же зависает на пару секунд в воздухе, после вытянувшись вдоль тела, а легкая ткань соскальзывает обратно, скрывая следы.

Это даже не больно, получать от любимого человека вот такие жесты. Я по всем параметрам мгновенно его оправдываю и прощаю. Не прощаю себя. Потому что моя неидеальность может оттолкнуть, и тогда одиночество, наконец, прогрызет себе дорогу к скудным остаткам здравого смысла, обглодает те крохи и я стану не на три четверти, а абсолютно полностью, совершенно неизлечимо безумна.

Фил такой свой, такой личный космос, небо, тепло и частица родственной души, но в тоже время не принадлежащий мне даже на треть. Он рядом, он позволяет многое, он отдает, кажется, порой не меньше, но сердце его... огромное чувствующее сердце, которое тот скрывает за непрозрачно-матовым слоем искусной игры, болезненно любит не меня. Не так, как хотелось бы.

И это бьет по внутренностям будто кувалдой, заставляя задержать дыхание. Потому что нечто схожее по ощущениям пришлось испытать уже однажды. Понять, что стоящий напротив так сильно близок, ровно настолько же непоправимо далек. А глаза честно говорят, глаза не скрывают. Глаза Джеймса — слишком уникальный рассказчик, и в нашу последнюю встречу они огорошили невиданной новостью, но все же ожидаемой. Джеймс любил. Джеймс любит. И любит он не меня.

И в этот самый миг, когда напротив где-то внутри от боли задыхается Фил, страдая из-за старшего Лаврова. Любя неотвратимо и сильно.

За тысячи километров ровно в том же состоянии Джеймс, только из-за младшего.

Вот такая аномалия семейства чистокровных ублюдков и их властного отца судьи.

И мне хочется истребить этот проклятый род, который ломает настолько сильные личности. Кромсает их и дробит на мелкие части. И мне все равно, что ни Фил, ни Джеймс

не являются ангелами в человеческом облики, что они не лучше, а может и хуже, объектов своей одержимости. Но в тоже время я ревную, мне больно от того, что я сама никому настолько сильно не нужна. Никогда не была и никогда не буду. Что есть что-то в таких, как они, чтобы цеплять вот так намертво. До смерти цеплять.

И придуманная мной интуитивно тактика — подражать — дерьмо редкостное. Ибо чтобы вести себя как Фюрер — нужно быть Фюрером. А стал он таким после ряда пережитых вещей: потерь, чувств, боли, крови и шагающей с ним за руку смерти и метафорической своей и буквальной тех, кого любил или любит по сей день. Фюрер соткан из потерь, возвращенный на пепелище убитых надежд, вскормленный внутренностями врагов, напитанный запретной любовью к тому, кого лучше было бы никогда не знать. Фюрер настолько не я, насколько вообще возможно, а потому претендовать на привязанность Фила к себе мне рассчитывать глупо. Рассчитывать на что-то вообще, в принципе, глупо. Мне.

И я не Саша. Во мне нет той харизмы от которой падают, прогибаясь на колени, и мужчины, и женщины с ним рядом. Нет того стержня за идеальным фасадом, на который, словно огромная драгоценная бусина, нанизался Джеймс. Потому что младший из Лавровых оказался тем, кто его прогнул. Он оказался рычагом управления мастодонтом вроде Джеймса и это пугающе восхищает, и вызывает приступ агрессивной ревности. И жалости к нам всем троим.

Однако, помимо всего прочего, на горизонте все чаще мелькает чертов Стас, каким-то чудом получивший доступ к телу Фила. Стас, который мог быть виноват в его смерти, не сумей Фюрер снять тогда метку. Стас, который не то чтобы безобразен внешне, но стопроцентно не подходит кому-то вроде ангельской идеальности Фила.

Стас просто ему не подходит. Но Фил явно думает иначе.

А мне хочется рыдать и рычать. Потому что все ускользает из рук. Он вроде бы рядом, но его слишком мало. Распыляя себя, все еще не восстановившись физически, он мечется от помощи так дорогому ему Максиму до объятий гребанного Стаса. Утопает в конфликтах с несдержанным Гансом, пререкается с Доком. И периодами забывается или же спорит и со мной тоже.

Я ревную, мне плохо и больно. Меня рвет на части морально и физически, а таблеток становится мало. Порошок спасает лишь временно. Игла все еще пугает, хотя порой кажется, что цена такой зависимости слишком мала, если вдруг поможет. Потому что боль нестерпима.

Но почему-то именно в этом полете-падении. Не ожидающая, что такое в принципе возможно, я внезапно понимаю, что меня подхватывают сильные руки. Подхватывают молча и крепко. Не требуя ни ответов, ни объяснений.

Франц снова оказывается рядом чертовски вовремя. Несмотря на то, что после операции Фила мы не контактировали толком, лишь перебросившись парой слов, он вдруг внезапно выкрадывает меня из моего же кабинета и ведет к себе. Молча. Всегда молча, будто слова нам совершенно не нужны, контакт установлен на ином уровне. И в его темной комнате с зашторенными окнами, со стойким запахом сандала. Кофе и сигарет. Он обрабатывает порезы на моих руках своими до невозможности чуткими пальцами. Втирает что-то пахнущее приятно травами и немного цветами.

Медленно раздевает, глядя не на тело — в глаза. Поддерживает этот странный контакт очень долго, кажется, даже не моргая. Поправляет мне волосы, стягивает их в нетугой хвост на затылке, закладывает короткие пряди, в прошлом отросшей челки, за уши. Ведет мягкой

лаской вдоль челюсти и разворачивает за плечи к себе спиной, а после подталкивает к высокой кушетке в центре комнаты.

— Я думал, что у тебя линзы в первые дни, когда ты только приехала. Никогда не видел настолько ледяных, как два голубых кристалла, глаз.

— Я не, — начинаю, но останавливаюсь, не понимая, что нужно на это сказать. Нахмурившись, укладываюсь удобнее, перекинув хвост на одну сторону и выдыхая. Все странное. И место, и время, и состояние. Странные мы.

— Красиво. Твои глаза, быть может, и кажутся арктическим холодом, но они невероятно красивые, кошка.

А по позвоночнику, но точно не от температуры в комнате — бегут мурашки. Комплимент, а это именно он, отзывается внутри волной восторга и разливается теплом. В который раз рядом с ним мне тепло, он сам будто концентрация этого, такого необходимого мне всегда, тепла. И легкая улыбка, в коем-то веке не наигранно искренняя, щекочет губы. Он не видит ее, но чувствует, я уверена, и становится чуточку легче.

А дальше творится магия под его божественными руками. Магия, потому что назвать это банальным массажем язык не поворачивается. Магия, а он великий волшебник, умело растирающий болящие, задеревеневшие мышцы спины и шеи. Массирует мягко, давит идеально, гладит успокаивающе. И нет желания опошлять этот особенный момент. Не хочется даже допускать мысли о том, что он может после совершенно потребительски свести все к сексу. Не хочется думать о том, что может поставить на мне ценник, как все, кто находится вокруг постоянно. Не хочется быть оцененной им. И платить собой тоже нет желания. Хоть и понимаю, если он начнет — я позволю закончить и в процессе даже получу удовольствие. Но... Но необходимо мне в этом моменте иное. Способ получения тепла от мужчины, в которого я абсолютно по уши, безумно влюблена. Способ никак не связанный с сексом. А ведь всегда казалось, что только лишь он самый быстрый и верный.

Я хочу его, мне нравится то, что между нами происходит, я в восхищении от его первобытной силы и властности. От похоти и жажды взаимной, что короткой вспышкой прошила тело, словно молния и оставила следы на самой душе. Росчерк сумасшедшего удовольствия, который выключил и панику, и страх, и откровенный ужас. Росчерк, который переписать что-то внутри все же не смог, потому что матовое стекло одиночества, стертая крошево, которым обильно припорошено все внутри, скрыло слабую попытку под собой.

Я хочу, но не сейчас... И понимаю, что если и правда он все к подобному сведет, то это станет началом конца. Слишком быстрого конца, только возникшего начала.

И, наверное, мне было бы полезно снова разочароваться. Чтобы окончательно потерять и без того призрачную веру в то, что тепло для меня в этом мире осталось, мизерный, но необходимый запас.

Но он не разочаровывает.

Говорят, что не стоит ради чужой благодарности что-либо затевать. Ради благодарности, именно ради нее родимой — действовать нельзя. Никогда. Потому что за хорошее, ценное и действительно полезное, никто не скажет такое простое и банальное «Спасибо». Добрые дела, самопожертвование и далее по списку самые игнорируемые вещи во вселенной, и не только в ней, а гораздо дальше. И наши неоправданные ожидания, лишь наши же собственные проблемы.

Но проблема в том, что я всю жизнь гонюсь за призрачной благодарностью. Не желая

получать оценку внешности, я безумно жду оценку собственных действий. Жертв, поступков, выполненных поручений и многого другого. Живущий внутри идеалист не дает покоя. Как и отвергнутый в прошлом ребенок, разочаровавший по всевозможным вопросам. И синдром отличницы, который изводит, стоит лишь найти малейшую погрешность.

Я всегда была строга к себе по части косяков. И лажать не просто больно, а невыносимо. Со временем лучше не стало, все превратилось почти в одержимость идеальным результатом, и потраченные средства не важны.

Не важна и я для самой себя. Об этом мне вдруг сегодняшним утром сказал Джеймс, а после просто повесил трубку. По его мнению, я растрачиваю талант в месте, где тот недооценен. И своим сраным заявлением он делает непоправимое — ставит снова ценник на меня, как на чертову вещь, которая сама себе не принадлежит.

И впервые за столько лет сосуществования бок о бок, я понимаю, что чувства в его сторону интерпретированные как любовь или зависимость, оказываются во много раз многограннее. Я никогда их не рассматривала с разных сторон, предпочитая называть тем, чем они кажутся на первый невнимательный взгляд. Однако... загнанная в угол странными и неожиданными словами, вдруг начинаю оглядываться, прислушиваться к творящемуся бардаку внутри и понимать, что от любви в ее привычном проявлении, там не меньше, чем от пресловутой ненависти.

Ошарашивающее открытие состоит в том, что насколько сильно я привязана к Джеймсу, и спустя годы лелею романтическое глупое чувство, настолько же сильно я ненавижу саму мысль о его существовании.

Он изуродовал мое нутро, истерзанную душу окончательно. Он тот, кто сумел выпестовать чудовище, дремлющее внутри меня, посадив на поводок, давая тому сорваться лишь на тех... на кого сам же позволял. Ручную, послушную, совершенно именно для него неопасную. Спасая от вполне заслуженного наказания, выдрал наркоманку из рук официально стоящей системы, и увел в тень. Где намного больше лжи, грязи и смерть бродит по пятам голодной шакальей сукой.

Джеймс помог не мне в конечном итоге, Джеймс помог себе, заимев удобную пешку, привязав к якобы заботой, дал почувствовать участливость, подкормил типа особым отношением.

Он использовал меня. Всегда и со всеми так делал. Глупо было ожидать, что я стану особенной и он поступит иначе. Глупо. Влюбленно. Совершенно в моем духе.

Ему не понравилось, что дав мне кусочек свободы без его поводка, он, неожиданно для него, меня упустил. Прирученный питомец сбежал, почуяв, что может быть иначе. И пусть о нормальности своего состояния я судить неспособна и наркотики снова плотно обосновались в моих буднях... Вдали от него проще, не настолько отравлено и ненатурально, вдали от него лучше. Что не отменяет моей возвращенной преданности, и как не жаль, но все же странной, болезненной любви.

Он стал ровно таким же наркотиком как чертов порошок. Не приносящий пользы, но необходимый. Иначе все кажется блеклым, неживым, скучным, тусклым... все кажется слишком не таким. А с ним привычно. С ними обоими.

Но слова о том, что моя собственная важность, в моих же глазах, почти нулевая — обижают.

Я не в восторге от того, что стало с моей личностью, но считаю, что достойнее многих. Не позволю собой пользоваться нагло и открыто, хотя кому я вру... Именно это годами и

позволяла.

Ему.

И мне так душно и плохо наедине с этой вскрывшейся правдой. Мне отвратительно больно где-то в груди, что сжимается тисками. Мне сложно дышать, почти невозможно моргать и сглатывать вязкую, горчащую слюну тоже. Хочется кричать, хочется обвинять, хочется крови и чужих страданий... или же своих, и не найдя ничего лучше, я просто срываюсь к нему.

К Францу.

Стоящий у окна в своем кабинете, в вязаном кардигане, с распущенными длинными волосами, что кольцами завиваются, он похож на огромный сгусток обжигающе-комфортного тепла. Словно костер, к которому я мотылем лечу, и плевать и на дым, и на то, что тоже, как и все до него, может обжечь. Совершенно разбитая, едва в силах сдерживать рвущиеся слезы, не сумевшая скрыть дрожь в руках, я утыкаюсь лицом ему между лопаток, прижавшись сильно и плотно всем телом. Не посмеяв обнять, не посмеяв трогать руками, просто уложив те невесомо на его плечи. Я стою и оттаиваю огромной ледяной глыбой рядом, с этим таким естественным, и таким особенно нужным мне жаром.

А Франц молчит. Всегда молчал, молчать, вероятно, и будет. Очевидно ждущий, когда я открою свой рот и наконец, объясню, что происходит со мной почти на постоянной основе.

Только пора уже перестать прогнозировать и делать вид, что я знаю, как именно он поступит. Или чего конкретно, и от меня ли вообще, хочет.

— Я видел много людей тонущих без воды, кошка. И ты захлебываешься, непонятно лишь почему, и как давно начала свое саморазрушение.

— Что ты хочешь узнать? — Шепотом между лопаток, стирая и слезы и тушь об мягкую ткань.

— Я хочу узнать все. С того самого момента, когда ты почувствовала первую трещину внутри, — после произнесенных слов, медленно расширяется его грудная клетка и он делает глубокий вдох. Трусь щекой, а в голове так сумбурно и пусто, а внутри так звеняще тоскливо и больно, что сомнения просто растворяются. Потому что терять нечего, слишком давно нечего, даже себя.

— Это было очень давно, Франц.

— Тогда тебе повезло, что я никуда не спешу.

Он и не спешит. Не спешу со словами и я. И выливать изнутри скопившуюся копоть, противную пыль и чертово крошево сложно, куда сложнее, чем я представляла. А представлять было приятно, что найдется тот, кому будет интересно выслушать без особых на то причин.

Фила не интересовало прошлое, он его не любил, пусть и уважал. Ему не нужна была моя покрывшаяся коркой язва извечной боли, он давал мне тепло и присутствие, он понимал, что есть надрыв, но никогда вскрыть тот не хотел, не пытался. Потому что был хронически болен сам. Стал родным и безумно важным, но не исцеляющим. Исцелить он, в принципе, не способен.

Франц же копнул глубже. Франц нырнул в меня, в мое же болото, оказавшись внезапно рядом. Не оттолкнув, не начав смеяться или осуждать. Франц захотел слушать, и это решило если не все, то многое.

— Я старший ребенок в семье, мать была пианисткой без особого на то дара, но упорная настолько, что сумела достичь неплохого признания. И, возможно, ее что-то бы ждало,

только проблема пришла, откуда не ждали — влюбилась. И влюбилась совсем не в того. Отец, по натуре своей деспотичный, сразу же вогнал ее в рамки. С военным воспитанием, выращенный дедом, тот сразу же запретил ей заниматься потерей времени — музыкой, потащил под венец. И в свои жалкие девятнадцать, она оказалась по уши в пеленках и на руках с болезнью мной. Что логично — девочке, мечтавшей о любви и творчестве, ребенок был как кость в горле, но она старалась. Пока не пошла ее психика трещинами, та кричала надорванным голосом, что именно я сломала ее жизнь и отобрала будущее. Отец же, в то время наращивавший связи и влияние, добившийся признания, как один из лучших пластических хирургов, вдруг решил, что отличным решением будет родить еще одного. При всем этом совершенно про старшую дочь забыв. — Выдыхаю как на духу. И комкаю ткань под пальцами, мягкую шерсть, теплую, пахнущую им.

— От меня всегда требовали. Не просили, не спрашивали — приказывали. Не обсуждалось вообще ничего. Я либо делаю так, как ему угодно — либо делаю так, как ему угодно. И надо сказать, при всем том, что получалось у меня хорошо, несмотря на сложности с восприятием у окружающих, он не верил ни на секунду, что из меня выйдет хороший хирург. Когда я сказала, что помимо пластики интересуюсь нейрохирургией, он лишь закатил глаза и сказал, что для начала мне стоит сменить фамилию, чтобы в случае провала не опозорить его. И выдал замуж за своего овдовевшего друга. Радовало то, что брак был фиктивным, спать с почти стариком не пришлось. Зато пришлось выслушать не раз, и не два, смешки в спину и тычки пальцем, о том, что такой, как я, только сморщенный хуй и светит, ибо фригидная, холодная и вообще никакая. — Не лучший момент в моей жизни, очень явно не лучший. Но говорить оказывается легко. Слишком легко. И я не знаю, причина ли в том, что я вываливаю это именно ему, или в том, что в впервые вот так от начала всю свою боль проговариваю.

— От меня никто ничего не ждал ни в детстве. Ни в школе. Ни в университете. Я не нужна была ни родителям, потому что девочка, ни другой своей родне. Даже младшая сестра, успев подрасти хоть немного, стала капризно подставлять, завидовать и причинять неприятности. Но к тому моменту я нашла отдушину. Сразу это были седативные. Потом антидепрессанты, потом снотворное вместе с успокоительным. После поиски синтетических наркотиков. Кокаин. Марихуана. Гашиш. Иногда было совсем плохо, и я пробовала что-то серьезнее и крепче. Алкоголь отталкивал, наркотики показали выходом. Раем.

— Синтетическое счастье.

— Синтетическое счастье, — повторяю одними губами. — Под кайфом учиться было проще, нагрузки я выносила ужасающие, почти не спала, почти не ела и дошла до анорексии. Нервной. Вовремя опомнилась, вес восстановился, подключились физические нагрузки. Уже позже работалось под кайфом еще проще. Спасибо моему на тот момент старому ненужному мужу, он подсобил с должностью. Мне не верили, усмехались, делали предложение одно паскуднее другого, вплоть до того чтобы торговать собой в притоне, ибо там мне и место. А я рвалась в хирургию. Рвалась... и дорвалась. Меня словили на сдаче анализов на наркотики, после того как под моими руками скончался внук министра чертовой Калифорнии. Врачебная ошибка — вердикт. И очень удачно подвернулся Джеймс. То ли ему нравилось коллекционировать поломанные игрушки, что внешне, что внутренне, то ли просто нужен был личный медик, но я ушла к нему. Иного выхода не было. Или решетка...

— Или криминальная сторона.

— Я пыталась первое время отблагодарить. Но спать со мной он почему-то не хотел,

подпустив к своему члену, вдруг сказал, что это просто не мое и не стоит даже пробовать. Я тогда обиделась и как идиотка рыдала несколько дней, после обдолбалась до невменяемости, и выпала из реальности в долгом угаре на многие месяцы. Он ждал. А потом запер в лечебнице и смотрел, как меня ломает. Я же — дура редкостная, помимо зависимости от наркотиков, раздолбанной с детства психики, еще и в него влюбиться успела. Он казался таким рыцарем, мать его. Таким правильным и спасшим, что я не усмотрела момент, когда он меня и поломал. И я могу его винить во многом, но цельность без трещин сломать сложно, а начавшее крошиться нутро раздробить окончательно...

— Легко.

— Да, легко. Он оказался рядом слишком вовремя. Но опасно для меня. Выгодно для него. Я пешка, Франц. Кажется, это мое призвание. Ни любви ко мне, ни тоски, ни жалости никогда и никто не испытывал по-настоящему. Вокруг только — ложь и фальшь. Иногда красивая, иногда уродливая. И я так сильно устала, что скоро просто вырублюсь и не сумею открыть глаза снова. Режу себя скальпелем, потому что боль смывает и сомнения и все остальное, словно слой за слоем снимает налипшее дерьмо к внутренностям. Мне нравится это самоуничтожение. Нравится отталкивать от себя, только потому, что я настолько сильно хочу тепла, что боюсь быть совершенно ненужной. Я отталкиваю первой намеренно, чтобы не оттолкнули меня. Оправдывая ровно каждый собственный проеб по жизни тем, что я просто родилась девочкой в мире полном мужчин. И это моя единственная ошибка. И тебе я, вот такая, не нужна. Я не нужна сама себе, Франц.

Сбежать из кабинета оказалось проще простого. Меня никто не держал. А ноги сами принесли к комнате Мадлен. Глубоким вечером, на взводе и уже начавшая сожалеть... я просто потащила ее в центр, не слушая ни единого аргумента в пользу того чтобы остаться. Благо Элкинс всегда был легким на подъем, потому спустя каких-то полчаса в полной готовности мы уже ехали подальше от ворот базы. Подальше от того, кому почти исповедалась, открыв настежь загнивающие створки души. Меня радует и разочаровывает одновременно тот факт, что я не видела вишневых глаз. Намеренно забирая тепло тела, комкая кардиган, дыша запахом и отогреваясь, но отказываясь изменить позу, отказываясь двигаться вообще.

И, черт бы его побрал, он нужен мне. Он так сильно мне нужен, что хочется плакать от беспомощности, потому что нельзя. Слишком рано или поздно. Просто слишком. Я люблю беспричинно, толком его вообще не зная. Восхищаюсь живой человечностью, всем им восхищаюсь, но совершенно не подхожу ему. Это ведь не Джеймс с его атрофированными чувствами. Не Фил, который сломлен не меньше, чем я, а может его ситуация еще и хуже. И не будь его предпочтения столь очевидны, а наша связь дребезжащей и странной, быть может, именно нам и стоило бы идти по жизни вместе. Не пытаться друг друга исцелять. Не стараться изменить. Не вскрывая гниющие нарывы прошлого, просто жить синтетическим счастьем.

Но Франц... Франц всем своим молчаливым видом дарит призрачную надежду на то, что могло бы быть иначе. Как-то. Просто по-другому. Тепло, очень тепло и уютно. С ним. Он весь синоним тепла и уюта, угрожающий внешне, но такой комфортный и понимающий, что тошно от самой себя, но бежать от него с каждым разом все сложнее. От себя проще. И мне жаль, что я не встретила его раньше. Жаль, что столько лет потеряно совершенно впустую. Что жизнь моя гребанная, кажется, абсолютно потеряна.

Путь до центра пролетает на удивление быстро, под идущий фоном диалог Мадлен и Элкинса, под тихо бормочущий приемник, под накапывающий легкий дождь. Внутри же настоящая буря из противоречий. Рассказав, пусть и вкратце, большую часть важных событий моей жизни, приоткрыв свои страхи, признавшись в слабостях, я не просто дала ему карты в руки и, прошу заметить, козырей там немало. Но еще и ткнула себя же своей неидеальностью четко в лицо. Грязно, грубо, намеренно причинила боль воспаленному нутру, и зудит теперь все от нужды поскорее отойти в мир забытья. Просто сделать вид, что разговора не было хотя бы на несколько часов, дать себе же остыть, вдруг после того, как наркотик отпустит, станет уже все равно, станет легче, откаты пойдут менее жесткие или их не будет вовсе.

И ожидание, предвкушение, словно чесотка в венах, я нетерпеливо ерзаю, перебираю пальцами подол платья, постукиваю ногой, уперев острую шпильку с силой в коврик. Мне просто нужен мой миг синтетического счастья, под громкий бит, окружив себя множеством ровно таких же, как я, потерянных людей. Без шанса упасть в звенящую одиночеством тишину. Я хочу оглохнуть прилюдно. Танцевать, пока ноги способны держать вес тела под собой. Пока глаза открыты хотя бы минимально.

Хочу забыть каждого оказавшего на меня влияние мужика в своей жизни. Каждого. Начиная от отца и заканчивая уютным жаром Франца. Всех. Хочу. Забыть. Этой ночью, и если повезет еще и последующим утром.

И не успевает машина затормозить — выскакиваю на улицу и аккуратно бегу к входу в клуб, прикрыв себе голову сумочкой и придерживая полы пальто. Помещение встречает дымной завесой, тусклым светом на подходе и яркими вспышками мерцающих ламп в зоне основного действия. Мы были здесь однажды с Мэдс, когда прилетали в центр выполнять очередное по счету поручение Джеймса. Цены кусачие, народ якобы элитный, но все относительно упорядоченно, начиная от приличного качества наркотиков и заканчивая хорошим алкоголем, обслуживающим персоналом и охраной.

Нам удастся выбить себе уютный VIP. Помимо VIPа взять бутылку хорошего мартини для Мадлен и кальян для Элкинса. Меня же интересует иное, и поняв по моему резанувшему уверенностью взгляду, никто не собирается ни отговаривать, ни сдерживать. И в минимально короткие сроки у меня в руке — несколько грамм порошка, пара таблеток и пузырек с жидким наркотиком.

Вдыхаю разделенную надвое дорожку, капнув пару капель на язык, проглотив следом таблетку и откинувшись на удобном диване, просто жду, когда сотрется любое из мешающих ощущений. Но синтетическое счастье на то и искусственное, что приходит тогда, когда пожелает, не подчиняясь законам реальности.

И чтобы ускорить бег крови в венах, а, следовательно, и желаемых приход — рвусь на танцпол, дернув за руку не ожидавшую такой прыти Мадлен. Тот встречает нас полюбовно громкой музыкой, битом, вибрирующим в грудной клетке и отдающийся грудой камней в желудке. Меня сдавливает со всех сторон и взглядами, и запахами, и звуками. Потолок кажется ниже, пол ближе, а стены шершавыми и чужими.

Но в голове настолько кристально, абсолютно насквозь пусто, что хочется, прикрыв

глаза улыбаться и отдаваться накрывшей атмосфере. Я ничто. Вокруг ничто. Во мне ничто. Ничто и во всех кто рядом. И мне совершенно все равно. Но честнее будет сказать — похуй.

Я танцую, словно от этого зависит моя жизнь, чувствуя влажные тела в критической близости, много тепла, настоящего и обжигающего. Оно низкосортное, краткосрочное, и кажется просто дешевым заменителем необходимого. Но что, или кто, или от кого... и чего, это самое тепло мне бы хотелось получить, я не помню.

Снова вдыхая. Снова закидывая таблетку под язык для большего эффекта, снова капая на кончик пару янтарных капель. Мне мало. Мало ощущения принадлежности к этой вселенной. Мало чувств. Мало ощущений. Мало всплывающих мутных мыслей. Мало себя. Внутри слишком пусто и тускло, несмотря на яркие вспышки мерцающих фейерверков под зашторенными веками, что радужными бликами слепят. Мало писка в закладывающихся ушах. Мало дрожи в кончиках пальцев.

Мне сегодня просто мало и одновременно чудовищно много всего.

Я существую и словно как раз перестаю существовать. Не воспринимается больше банальная речь, рассыпавшись на бисер-буквы ускользают просьбы, растворяются в шуме вопросы. Слова не складываются в голове, мозг работает на износ, пытаюсь что-то оценивать, но просто сдается и последнее, что я ощущаю — облегчение, когда в теле срабатывает кнопка «стоп» и он сам себя перезапускает. Только надо ли?..

Утро встречает ярким светом, льющим из окон, дрожью в отказывающихся разжиматься руках, режью в еле приоткрытых и напрочь пересохших глазах, с ровно такой же, будто натертой изнутри наждачной пересохшей глоткой. стакан с водой переключивается в мою руку с тумбочки, и когда я залпом тот выпиваю, наконец чувствую, как капля за каплей в меня несмело возвращается жизнь, понимаю, что рядом в кресле, буквально в метре — не Мадлен, очевидно — не Элкинс.

— Если тебе нужен завтрак или душ, хотя насчет первого не советую, то стоит поторопиться. У нас времени около трех часов, в течение которых мне нужно влить в тебя два литра раствора. А после мы выезжаем. Отказ, как и, в принципе, вообще твое мнение на этот счет не спрашивается. И я думаю, ты понимаешь почему.

— Душ. — Хрипло выдавливаю и позорно сбегаю. Способность обдумывать и действовать здраво еще, что логично, не вернулась. Наркотики из крови за столько времени банально испариться не могли. В таком количестве, в каком я ими закинула, почти до передоза, так и подавно.

Руки дрожат невыносимо, сон под ударной дозой и отключка сознания, как такового, едва ли не худший из раскладов, и так как понять, сколько часов из прихода выпало на этот промежуток, я не могу, приходится ориентироваться по общему состоянию. А то паскудное донельзя.

Еще и Франц. Он не сказал ничего сверх того, что мог бы, на самом деле. Спокойный, нечитаемый совершенно, без очевидного осуждения, обиды или чего-то в этом роде на дне вишневого взгляда, тот просто показался каким-то уставшим. То ли от ситуации, то ли от бодрствования определенный отрезок времени, то ли просто из-за последних событий, из которых я могла спокойно выпасть, или тонкости творящегося дерьма на базе тупо не знать.

То, что он является одним из приближенных к руководящей верхушке, понятно даже неискушенному новичку с первого же взгляда. То, что не прост и это очень мягко сказано — тоже.

Вода же для чувствительной кожи не ласка — пытка. Не получается слишком долго

настроить необходимую температуру, после уже я с трудом открываю и гель для душа, и шампунь, и кое-как вообще умудряюсь умыться, почистить зубы, кривясь от привкуса искусственной мяты и пощипывающих от плохо смытой косметики глаз. Волосы вытирать нет сил ни моральных, ни в руках, потому, просто намотав полотенце на голову, послушно возвращаюсь в постель. Стараясь не встречать его прямой взгляд, подставляю руку под острую иглу, готовая к вливанию необходимых препаратов.

Стыдно ли мне? Нет. Моя жизнь — мои правила и мое же право, что с ней делать.

Неудобно ли? Я не звала его, понятия не имею, что он здесь делает и приезд, очевидно, выбор его — не мой.

Нравится ли мне подобный расклад? И да, и нет.

С одной стороны приятна забота, пусть даже я и обманываюсь, а происходящее ей не является от слова «совсем». Обманываться в данном случае приятно. С другой же... показывать свои слабости настолько красноречиво и сразу же после тех, возможно, совершенно лишнего откровения ранее — такое себе удовольствие. Но вряд ли я способна разочаровать его больше, чем разочаровала уже. Если он вдруг и правда разочарован. Если же ему все равно и вопреки всему пиздецу, что я творила, творю и вероятно творить продолжу... То это совсем другой разговор. И в данный момент осмыслить нормально важность происходящего — я не способна, в силу того, что мозги работать отказываются. Полностью.

Хочется спать, немного мутит и безумно сильно сушит, но боюсь, что если выпью еще воды, то меня просто ей же стошнит. Интоксикация в виду неправильно проведенного времени после принятия наркотика началась слишком быстро. Виной тому и препарат, который сейчас проникает в мою кровь, в попытке очистить от «синтетического счастья» куда быстрее, чем это бы случилось естественным образом.

— Как ты себя чувствуешь? — Поглаживает бороду, что я вижу периферическим зрением, упрямо пялясь перед собой.

Все же немного стыдно, немного неудобно, чутка дискомфортно и накрывает какой-то блядской плаксивостью, потому что глаза начинают слезиться, то ли от вопроса, то ли из-за того, что запрещаю себе моргать.

Со мной сейчас говорит профессионал или небезразличный ко мне мужчина? Вопрос почему-то первостепенной важности. Который я не задам.

— Размазано, — хриплю безбожно. Сглатываю пару раз, чтобы задушить прорывающийся кашель. Моргаю. Слабо пытаюсь убедить себя, что нахожусь в комнате одна, но то ли потому что слабо, то ли потому что откаты уже идут, убеждение не срабатывает. — Почему ты здесь?

— Тебе нужна была помощь.

— И попросила тебя об этом?.. — Хоть сам господь бог, главное, чтобы не я.

— Мадлен. — От ответа и легче/проще и хуже в разы, чем если бы инициатива была моя или его. То, что подруга решила подключить вот такую артиллерию, в попытке вернуть меня в реальный мир, означает, что либо я серьезно перебрала, хоть и рассчитывала дозу. Либо что-то в моем состоянии подсказало ей, что именно этот мужчина поблизости окажет терапевтический эффект. Либо Фил просто не смог. Хотя в нашем последнем с ней разговоре, и судя по скрытым сигналам, из этой парочки, именно хмурый и серьезный Док нравится ей куда больше. — Выпей еще воды, — подносит к моим губам стакан, обдавая концентрированно пряным запахом своего тела. И такого вкусного, такого соблазнительно

прекрасного тепла. А я продрогла до самых костей, то ли из-за отходняков, то ли без него. Не понимаю, но тянусь как-то интуитивно ближе, а он и не уходит. Присаживаясь рядом.

— Меня стошнит.

— Значит — стошнит, тебе нужна жидкость, чтобы вывести препараты быстрее.

— Называй вещи своими именами — наркотики.

— Смысл от сказанного изменился? — Приподнимает бровь, когда встречаемся взглядом.

Крыть нечем. Спорить нет ни сил, ни желания, я просто выпиваю чертову воду и прячу лицо где-то в районе его ребер. Борюсь и с тошнотой, и с собственной разбитостью. Тело непрозрачно намекает на то, что подобные приключения ему не очень по вкусу. И как бы ни было мне хорошо ночью, сейчас мне ровно настолько же плохо. Потому что главное правило наркомана — не допускать вот таких откатов без подпитки. Ты либо постоянно понемногу продляешь кайф, не давая себе упасть в отходняки, либо мучаешься, очищаясь, а потом все по новой. И так по кругу раз за разом, потому что иначе уже не выходит. Иначе не получается, и если откровенно — не хочется.

Искаженная реальность привлекает своей ненатуральной легкостью. Возможностью уйти от себя и проблем, что снежными комьями падают сверху на голову. В такие моменты из мыслей уходит гул, чувства неполноценности покидает, целостность обманчивая, но такая пленительная кажется почти реальной. И безумие, тихо шипя ядовитой змеей куда-то прячется, ровно настолько, насколько хватает действия наркотика.

Без этого жить можно, просто тускло и слишком бесцветно. Без этого жить, наверное, лучше, когда есть тот, кто возьмет на себя ответственность за твое туловище и будет держать в тотальном контроле столько, сколько потребуется. Потому что сама я справляться с подобным дерьмом не способна. Не умею и не хочу.

Но если по-честному, то что есть у меня кроме синтетического счастья, Филя и проблем с головой? Одиночество? Подорванное психическое и местами физическое здоровье? Угробленная вера в то что личная жизнь наладится? Мне уже идет четвертый десяток. Моложе явно не становлюсь, умнее тоже. Никаких открытий впереди, как и достижений не ждет. Моя жизнь какой-то гребанный рубеж. Понять бы чего, зачем и почему. И как я здесь вообще оказалась. Кто или что тому на самом деле виной. Я? Или стечение обстоятельств? Судьба? Злой рок? Или просто я настолько слаба, что сдалась. Настолько слаба, как и предсказывал покойный теперь уже отец. Настолько слаба, что вместо того, чтобы быть стервой и обозленно прогнать того, кто греет собой, прижавшись слишком близко, я дышу им и тихо плачу, позволяя его рубашке впитать мое отчаяние и боль.

Тупоголовая, слабая, глупая дура. Наркоманка. Психически неуравновешенная, очевидно больная и совершенно его недостойная. Это не он дикарь и неотесанный мужлан, словно застрявший в период средневековья. Это я — ограниченное, бесперспективное, лишенное каких-либо особенных качеств существо.

— Как ты себя чувствуешь? — Невесомо его пальцы перебирают мои влажные волосы, проникнув под съехавшее и успевшее впитать большую часть влаги полотенце. Массирует мне висок, чуть оттягивая волосы у корней, гладит медитативно, и голос его как вересковый мед обволакивающе густой и сладкий для моих обожженных ночными битами ушей.

— Дерьмом, — едва слышно шепчу, губы пересохли и их хочется облизать, но вместо этого прикусываю нижнюю до боли, чтобы не всхлипнуть громко и позорно, втянув скопившуюся в носу влагу. Накрыло так накрыло, мать его. Святое дерьмо, святейшее в его

самом прямом проявлении. Позорнее и ничтожнее быть и не могло, в общем-то. Не в моем случае. Если и падать, то на дно. Главное чтобы снизу не постучали.

— Слышу что-то на наркоманском, это для простых людей значит — лучше?

Улыбка в его голосе или издевка? Определить сложно, но вкупе с легкой лаской чутких божественно прекрасных пальцев скорее первое, чем второе.

— Это значит, что ты по идее должен сесть в машину и уехать отсюда как можно дальше и как можно быстрее, если в тебе есть остатки здравого смысла, после всего, что ты видел и слышал.

— А если его во мне не осталось? — открываю глаза, поворачиваю к нему лицо и смотрю вот так снизу вверх. Ошарашенная, потерянная, заплаканная и опухшая. Без косметики с мокрыми спутанными волосами и ресницами. Чудовище, настолько сильно не в форме, насколько вообще могла бы быть. Перед его глазами, вот такая максимально разбитая, несобранная, отвратительная и мерзкая, а тот смотрит спокойно, купая в ягодном взгляде. Гладит по скулам и ждет мой ответ.

— Ты идеален или дурак? — Молчит, приподнимает бровь, а губы чуть дрогнут от слизанной с них попытки улыбнуться. — Поцелуй меня.

Его губы очень горячие или же мои слишком холодные. Его вкус насыщенный, чуть горчит чаем и бергамотом, табаком и чем-то особенно терпким. Его запах особый сорт наркотика, когда окутывает словно дымное, терпкое облако и топит в себе, без шанса на спасение. Язык его дает необходимую моей пересохшей глотке влагу. И это так томительно, так медитативно, смакующе медленно и удивительно, что хочется, чтобы миг не прекращался. Хочется застрять вот так с ним нависающим сверху, щекочущим упавшими на мое лицо шелковистыми прядями. Хочется съесть его. Такого вкусного до невозможности.

— Рука, — шепчет, поправляя мою руку, где в вену воткнута игла, мягко уложив ее — прямую и безынициативную. И наклоняется снова. Проникает горячей ладонью под полу халата, под которым только голая, покрывшаяся мурашками от его касаний кожа. Ведет по бедру, углубляя поцелуй и меня выгибает. Сама притягиваю ближе, сама раскрываю бедра призывно, сама обнимаю, прижав к себе ногами. И вес его тела идеален, а чертова рубашка бесит.

— Сними, — дергаю за рукав и наблюдаю, как он присев на пятки между моих ног, медленно ее расстегивает, не сводя с меня темных глаз. А я заворуженно рассматриваю, как открывается его тело сантиметр за сантиметром. Каждый яркий рисунок татуировки, пирсинг в левом соске, который не замечала раньше, прекрасный рельеф красивой вязи мускул. Как напрягается живот и проступают еще ярче и более явно пресловутые «кубики». Тело Франца идеально, без излишней массы, подтянутое, гибкое и сексуальное. Отбрасывает рубашку в сторону и наклоняется ко мне, разводя полы халата в стороны, прижимаясь кожа к коже к моей груди.

Горячий, во всех имеющихся у этого слова смыслах.

А я запускаю в его волосы руку и притягиваю нос к носу, начав тереться лицом об мягкую, шелковистую бороду, об его точно такие же щеки, губами ловя его губы и громко выдыхая, прогибаясь в спине и забрасывая ноги на поясницу. Чувственная пытка неспешным удовольствием, наслаждение от близости и никакой показушной страсти. Я просто хочу быть с ним рядом вот так, греться. Неважно абсолютно будет ли секс. Просто его кожа и моя кожа, его губы и мои губы. Руки, дыхание и взгляд, который вблизи как опаленные угли, огненный обсидиан который лижет яркое пламя.

Он кажется невозмутимым, но я чувствую силу желания, и властность прогибающей меня под собой ауры, и от этого хочется удовлетворенно, побежденно рычать. Несмотря на то, что состояние совершенно разобранное физически, что он постоянно поправляет мне руку, чтобы я не вырвала случайно иглу из вены. Мне кайфово. Кружится от ощущений голова... и тепло. Его так много. Того самого тепла, абсолютного, идеального тепла. Оно напитывает мне кожу, проникает внутрь, словно лучи предзакатного яркого солнца. Не пытаюсь обжигать.

И я не выдерживаю, сама расстегивая ремень, сама стаскиваю ниже мягкий хлопок белья, сама подаюсь навстречу и насаживаюсь с тихим стоном, похожим на жалкий скулеж. Забываясь в моменте, чувствуя, как он переплетает пальцы с моей рукой, чтобы та оставалась прямой и прижатой к постели, все еще помня про чертову капельницу. В то время как я... напрочь забыла обо всем.

И этот контроль, контроль Франца над моим телом, абсолютный контроль в этом моменте, убивает. Хочется отдать все до последней капли. Перестать существовать обособленно, перестать куда-то бежать, хочется врасти в него и остаться вот так. С теплом. Его теплом. Один на один в этом мире, а остальное не кажется важным.

И эти глубокие, правильные толчки в моем теле, словно особая медитация. Неспешная, чувственно изводящая и подталкивающая к грани. Мне казалось, что откатываясь обратно в состоянии, лежа после практически передоза, отдаваться настолько приятным ощущениям невозможно. Но с ним, почему-то, в который раз все иначе. Непривычно, остро, правильно. Словно я брела к нему всю свою гребанную жизнь. Именно к нему ползла и именно из-за него столько ошибок совершила. Чтобы оказаться в данной точке своего пути, каким бы кривым и извилистым тот ни был.

И удовольствие от оргазма накрывает с головой. Участвует не только тело в процессе, участвует душа потрепанная и ссохшаяся, участвует сердце, которое почему-то приятно болит. И это откровение на двоих. Поделенная вселенная.

И если Фил был небом — синеглазым и ясным. Внутри которого глубоко и безгранично много всего запрянуто. Он переменчив, от безоблачной ясности и красоты, до пасмурного гнетущего грозового состояния. Это небо способно быть чертовски опасным. Угрожающим. Поражающим смертельно.

То Франц стал неизведанным дном необъятного океана. Разверзнувшаяся бездна. Где царит покой, где не бьют тебя волны, не пенится своевольно стихия. На дне тихо. Темно. Комфортно и множество открытий, запрянутых секретов и тайн. Он стал тем, кто не дает шанса выбраться обратно на волю, поглощая кислород из легких и заполняя собой, поработывая волю, убаюкивая. Настолько кажущийся угрожающим на подходе, он оказывается совершенно не пугающим в итоге, но оттого лишь коварнее и опаснее, чем чертово небо с его надвигающейся грозой.

Рискуя быть сожженным вспышкой молнии, ты все же можешь суметь спрятаться от гнева. От неба спрятаться легко.

Подняться же без чьей-либо помощи, а часто, даже с ней, с самого дна глубочайшего океана? Невозможно.

Даже после полученных капельниц — все еще максимально не в форме, о чем организм не забывает напомнить, когда мы едем в машине обратно на базу. Впереди нас Элкинс и Мадлен. Следом мы с Францем на его пикапе, который ровно такой же брутально-грубый, темный и мощный, как и хозяин. Рычит мотор, приоткрытое окно запускает в салон свежий воздух с порывами ветра на скорости, а я сижу повернутая в его сторону, босая, с прижатыми к груди коленями и смотрю, не отрываясь — не на дорогу, на него.

Меня безбожно мутит, мы периодически останавливаемся, потому что скручивает приступообразно и я практически выbleвываю свои же внутренности, сгибаясь от спазмов, которыми сжимает горло, но не выходит изнутри уже ничего. Пью много воды, снова тошнит, снова пью. И так по кругу.

Франц не говорит по этому поводу ничего. Совсем ничего. Ничего и не спрашивает. Терпеливо помогает, терпеливо же следит за происходящим. Не отталкивает, когда прижимаюсь погреться об него, и нагло краду его руку, перебирая длинные сильные пальцы.

Мне плохо, мне же, в этот самый момент, хорошо. И дорога тянется нашей вязкой, болезненной, тихой бесконечностью. Мы оба молчим, говорить тупо не хочется. Достаточно взгляда, чтобы понять, что необходимо моему воспаленному нутру, что хочет спросить он. И эта связь образовавшаяся, аномальный коннект, синхронизация... удивительны. И как бы ни сгибалось физически от последствий своих же действий, морально мне куда лучше, чем я могла бы желать. Рядом с ним становится лучше с каждым вздохом.

Фил оказался своим от начала и до конца, понимающим и принимающим до последней капли моей черни и грязи. Но Франц... Франц одним лишь присутствием начал исцелять. Пробуждать тягу к жизни, тягу к его теплу и внутреннему свету, к самому источнику, что теплится в груди раскаленными углями. Его влияние притянуло... и испугало.

И капля по капле внутри нарастает истеричная паника, что в который раз я попросту растворяюсь. Капля по капле понимание неизбежного начало отравлять. Бросая мне в лицо картинки добровольного рабства, в котором я уже не один год нахожусь. Меняется лишь внезапно хозяин. Или их теперь стало несколько?

Потому что сказать, что я избавилась от зависимости, имя которой «Джеймс» — не могу. От него, в принципе, избавиться невозможно так чтобы окончательно, пока тот ходит по брэнной земле. И это даже не обожествление, скорее... просто принятие как факта, что я слишком давно и долго с ним, чтобы так быстро отвыкнуть. Чтобы перестать на рефлексх выполнять все, что попросит или прикажет. Что происходящее между нами, вероятно, не просто привязанность, а сила чертовой привычки выработанной годами.

И этого всего становится так много...

Мужчин в моей жизни становится слишком много, мужчин постоянно и неизбежно крошащих мою личность собой. Каждый по-своему, но оттого не менее сильно.

А я не понимаю, что с этим делать и нужно ли делать вообще. Потому что и без того одиночество давно и плотно пробралось в душу и осело там как родное. И изгнать его в одиночку не получается, не получается и с их помощью, пока что, тоже.

Быть может пора перестать сопротивляться?.. Просто перестать и отдаться волнам, что медленно несут куда-то вперед. Просто прекратить попытки контролировать то, что не

поддается контролю.

Но это сложно.

Понимаю, когда вместо того чтобы привычно бежать от него... бегу к нему при первой же возможности. Наблюдая за тем как с приходом жаркого лета, припекать стало по всем фронтам, а главное Фила... Фила стало безумно мало рядом со мной и не потому, что его место занял Франц.

Палящее солнце знойно сводит с ума. До позднего вечера хочется просто или сидеть в бочке с ледяной водой или спрятаться в какой-нибудь подвал. Потому что жарко настолько, что выход видится в желании содрать с себя кожу. И я втайне завидую мужикам, которые мелькают то тут то там голыми торсами. Нам же с Лерой и Мадлен приходится худо, ибо светить бюстом, как Лера, я позволить себе не могу, а защиты, как у Мадлен, да так что со всех тылов — у меня нет. Фил точно не нянька, а Франц не сторож, потому приходится более скромно облачаться во что бы там ни было и страдать. Как правило с коктейлем в руке или самодельным лимонадом, где в высоком стакане льда больше, чем жидкости. Наблюдая за тем, как божественные пальцы копошатся в земле.

Франц красив, когда работает. Сосредоточенно-расслабленный. Умиротворенный и уютный. А я залипаю на то, как двигаются под влажной кожей мышцы, как в свете ламп разноцветная роспись татуировок переплетается невероятной вязью. Как блестят естественным здоровьем волосы, блестят и глаза, когда мы пересекаемся взглядом и скрывать свою заинтересованность я не хочу, даже не пытаюсь.

Мне нравится просто молча находиться рядом, нравится, что он не зовет, но и не прогоняет, однако всем своим видом показывает, что то, что я чувствую, взаимно. Не давит, не лезет, не зажимает как животное по углам. Он вообще сам меня практически не трогает. Интуитивно чувствуя, что если я захочу, то приду и отдам сама... или возьму.

Он просто поблизости, и присутствие ощущается, даже если между нами десятки метров. Его тепло долетает до меня фантомно через препятствия и стены. Он просто рядом, не потому, что я умоляла или выпрашивала. Потому что захотел этого сам. И я не понимаю, чем заслужила такое отношения, вспоминая какой была сукой с ним с первых же минут знакомства. Не понимаю и почему он терпит то, как я начинаю метаться, когда замечаю ускользающее от меня внимание Фила. Почему делает вид, что не в курсе происходящего, хоть и вишневым взгляд ставших любимыми глазами, говорил громче слов, что это не так.

Я же, совершенно не имея на это прав — ревную. Сильно и жгуче. Ревную Фила как сумасшедшая, наблюдая за ухаживаниями Стаса, он словно кот вокруг сливок бродит и облизывается. Стас просто нагло и открыто показывает свои намерения и не к кому-то, а к тому, кто так бы хотелось, чтобы был целиком моим. И пусть я понимаю, что в силу предпочтений и вкусов моему синеглазому небу нужен кто-то вроде чертова Мельникова. Но...

Но логика и мозг это одно, чувства и вопящее в протесте сердце — другое.

Я не могу смотреть на их переглядки, на то, как на светлой коже Фила появляются характерные отметины. Как тот проявляет свою и без того вопиющую сексуальность не для меня, и пусть сексуализировать наши отношения я не старалась, все происходило как-то само и бесконтрольно... вдруг поняла, что хочу метить сама. Метить и знать, что там, в россыпи цветных пятен, есть часть меня и это он не скрывает.

Потому нагло клеймила его кожу, когда Фил приходил, всегда сам, будто нуждаясь. Вгрызалась, едва ли не до крови, буквально нападала. Мы не просто курили или рассасывали

одну на двоих таблетку, целуясь. Мы стабильно хотя бы раз в неделю трахались как обезумевшие в моей комнате, да так, что я срывала голос до хрипоты, чтобы после сидеть в душе и в шоке смотреть в стену напротив, сгорая и от стыда, и от радости разом.

Я не хотела его как мужчину. Не в том самом первобытном смысле. Я просто хотела его целиком себе. Мне нужен был он. Необходим как воздух. Моим абсолютно. Это какое-то совершенно ненормальное, неконтролируемое нечто, когда понимаешь, что любишь его, но как-то совсем по-другому. И объяснения этим чувствам попросту нет. Нам секс, по сути, вообще в отношениях не нужен. Ни ему, ни мне так подавно, для таких вот животных проявлений своих чувств есть Франц, которого как раз до жгучего кипятка в венах хотелось перманентно. Всегда хотелось, и с ним, только с ним, кончать было сродни маленькой смерти.

А с Филом... наши отношения как тандем двух больных до самого дна душ. Сиамские близнецы, сросшиеся своими зависимостями, проблемами, шрамами и болью. Понявшие друг друга. Принявшие невысказанное. Заменявшие все недостающее с кем-либо другим. Заполнившие черноту сквозную в груди. Фил мое небо, а я его блядское клеймо.

И я клеймила. За все невысказанные претензии о невнимании, за злость, что плюет на свое здоровье и не следит совершенно за состоянием. За ревность к Стасу, который давал то, что я не могла по факту рождения. Заявляла на него права, облаченные в знакомые движения тел. Чувствуя свою мнимую, призрачную, такую короткую власть. Он не сопротивлялся, просто отдавая мне в руки руль, а я дура брала. И не объяснить для чего вообще было затевать это странное дерьмо, но остановиться казалось невозможным.

А уже после...

Ошалевшая, часто не совсем трезвомыслящая — срывалась к Францу. Снова сидела рядом и гипнотизировала плавность его умелых рук, игру света на божественно-прекрасных пальцах. Трогала мягкий шелк волос и целовала, едва касаясь губами, горячую кожу. Слушая, замирая на его коленях, стук сильного и мудрого сердца в груди, боясь упустить хотя бы секунду. Расслабляясь на мгновение длиною в вечность, давая нам всем передышку... Чтобы в очередной раз стабильно срываться и истерично метить территорию, которая никогда окончательно не смогла бы стать моей.

И объяснить природу вот такой болезненной одержимости сложно. Еще сложнее понять, почему именно после звонков Джеймса у меня срывали все тормоза. Вдали от его внимательных пронизательных глаз жилось и проще, и сложнее. Джеймс был квинтэссенцией тотального контроля. Облаченное в человеческое тело — могущественная, подавляющая всех и вся, сила. Из-под него хотелось вырваться и бежать так далеко и быстро, как только возможно. Но в тоже время в нем была нужда, как в долбанном наркотике. Он подсаживал на себя, вызывая зависимость и от решений, и от желаний, и от присутствия как такового.

Я перестала видеть в нем мужчину, перестала обожествлять, но надорванная струна внутри требовала его по-прежнему сильно. Требовала и истерично вибрировала, получая каплю желанной дозы. А психика сдавалась.

Нескончаемый круговорот, в который меня втянуло и не желало отпускать казалось, не прервется никогда. Все стало циклично: немного отпускало, потом происходила любая незначительная мелочь, которая оказывалась спусковым крючком, и меня срывало. От наркотиков уйти не получилось, сколько бы попыток ни делал Франц, очищая мой организм, как бы ни старался быть понимающим и просто рядом, когда я нуждалась — не помогало.

Фил в этом вопросе был неподходящей кандидатурой, страдавший ровно от того же недуга. Но если меня наркотики начали утомлять, для него они были топливом слишком давно и долго.

И как всегда в моей чертовой жизни бывало, насмешкой или издеваясь, судьба — мерзкая сука, подкинула проблему оттуда, откуда я не ожидала.

Потому что в свои полные тридцать, давно смирившись, что некоторых вещей не постичь и из-за образа жизни и просто потому, что сам организм не желает, совершенно не ожидала, что задержка длинной в несколько недель, не очередной сбой гормональной системы, а банальнейшее и оттого до обидного ожидаемо-неожиданное — беременность. И все было бы прекрасно — понимай я от кого этот ребенок. И все было бы волшебно и здорово, если бы в нашем сраном мире ему было место. И все могло бы быть иначе, наверное, если бы я не принимала запрещенные наркотические вещества на постоянной основе.

Но, даже понимая, что оставлять плод странной любви недопустимо, все же решиться и убить его не могла.

Не могла.

Потому что в тайне слишком давно и слишком украдкой мечтавшая, вдруг понимала, что происходит кем-то, вероятно, случайно подброшенное чудо. А я принять не имею права. Мне страшно, мне больно, мне невыносимо, но рассказать о случившемся никому не поворачивается язык. Меня носит, я плохо сплю, не могу нормально питаться, совершенно забросив физические нагрузки, просто схожу с ума, потому что оставить нельзя, а убить невозможно.

И меня, скорее всего, так и носило бы бесконечно из одной крайности в другую, если бы не произошло одновременно несколько вещей, ровно каждая из которых по силе своей способна была меня убить морально и начало казаться физически тоже.

Прилетел Джеймс.

Непонятно почему. Совершенно неясно, что послужило настоящей причиной, но как только я увидела его спускающимся по трапу вертолета — онемела и от восторга, и от ужаса одновременно. Осознала, что соскучилась смертельно, однако в тоже время лучше бы никогда больше его не видела.

Потому что...

Боже, это же Джеймс. Это любовь и боль, это концентрат ненависти в крови, зависимость самая сильная и непроходящая.

Это Джеймс и он шел ко мне, а я как идиотка пятилась куда-то за угол, чтобы после влипнуть в стену под его взглядом. Влипнуть и остолбенеть, едва способная моргать, когда не осталось между нами расстояния даже в пару сантиметров. Он атаковал как кобра, бросился внезапно вперед и лицом к лицу, сжав зачем-то мне челюсть сильно и властно. Смотрел и будто впитывал каждое изменение внешнее или внутреннее непонятно, вытягивал энергию своим присутствием, а мне захотелось стечь к его ногам ничего незначащей лужей.

— От кого из них двоих, Веста? — Спрашивать, что он имеет в виду, не было никакого смысла, откуда узнал так и подавно. И какой бы подругой ни была мне Мадлен годами, Джеймс ее брат и это решает все. Мне стоило догадаться, что идти к ней, в приступе панической атаки и признаваться в полнейшем пиздеце — глупая затея. Но как же хотелось довериться. И не тем, кто крошил, пусть и любимыми руками, мою душу ежедневно, а к той, кто должен был, если не помочь, то понять.

Ошибка. Моя. Снова. Но поздно рассуждать о том, что изменить не под силу никому. Самое время искать выход, а выхода как раз таки и не видно ни в упор, ни на горизонте как таковом.

— Я не знаю. — Честно, но видимо лишнее. Что-то неуловимо меняется во внешности всегда сдержанного, но безумно хитрого человека. Видимо играть с чувствами, какими бы те ни были, позволено только младшему из троицы Лавровых. Не мне. И он очень явно дает это понять.

— Ты ведь моя, девочка. Я вытащил тебя из глубочайшего дерьма, в котором ты измазалась по самую макушку. Ты утонула в нем. Но благодарность, видимо, совершенно не ваша фамильная черта, что младшая творит хуйню и гробит себя, что старшая, как запустила саморазрушение, так с удовольствием и продолжает.

— Джеймс...

— Я могу тебе помочь. Есть пара контактов, все будет в лучшем виде, только тебе стоит решиться. Ребенок? Серьезно? Будешь добавлять в молоко пару доз амфетамина? Не дури, ты и без того снова не в форме. Захотела поиграть в любовь? Играй. Только не забывай кто ты и чья.

Он уходит ровно также стремительно, как и оказался рядом. Оставив оглушенной и от все еще стоящего в ноздрях запаха, и от слов. И от понимания, что ради него и для него, я все еще готова сделать что угодно. А ему явно не понравилась сама мысль о том, что во мне сейчас растет маленькая, пока состоящая лишь из набора клеток, жизнь.

Я не планировала за это «чудо» бороться. Изначально видя такой вариант невозможным. Но Джеймс... Джеймс ударил больно и выверено, вогнал обратно в обойму, нацепил призрачный ошейник и с силой тот дернул, заставив задыхаться от безнадёги.

Я не планировала бороться, даже мысли не возникло, но вот такое неприкрытое потреблядство в очередной раз напомнило, где мое «место». Ткнув моей незначительностью, но пока еще в чем-то остающейся выгодной хотя бы минимально, иначе пошла бы в расход.

Я не планировала...

Но в панике снова бегу туда, где спасительное тепло и сила. Бегу жаждущая спасения, осознавая, что ребенка в любом случае не оставлю, но увидеть радость в глазах напротив, от понимания, что такой расклад мог бы быть в какой-то параллельной вселенной... хочется до безумия. И распахивая дверь дрожащими руками, ощущая судорожное напряжение в икрах и стоя как-то слишком неустойчиво на тонкой, привычной за годы шпильке, влипаю глазами в широкую спину.

Франц с кем-то разговаривает, мгновенно повернувшись на звук приближения. Телефон сейчас явно важнее моего раздробленного состояния, но тот притягивает свободной рукой к себе и дает вдохнуть полюбившийся запах, окунуться в тепло. А мне больно, плохо и снова, черт возьми, мало и тускло. Хочется вырвать мобильник, запустить в стенку... и забрать себе все сто процентов, из возможных, такого драгоценного внимания.

Но... Замираю вдруг начав разбирать слова, знакомые мне врачебные термины, тонкости смертельного диагноза. Слышу тихие ответы по ту сторону трубки от второго участника разговора, хмурюсь с каждой секундой все больше, начиная покрываться противными мурашками. Потому что если Франц консультируется с онкологом, значит у кого-то из его близких, либо же пациентов или вообще у него самого, не дай бог, это лютейшее дерьмо в организме. И как-то совсем не до шуток, рассыпается паника, сорванным

с шеи жемчужным ожерельем нам под ноги. На смену той приходит — ступор и ожидание, вкупе с волнением. Горячая новость, с которой я бежала сюда на всех порах, застревает в глотке комом, я проглатываю ее, не раздумывая, поняв, что спешить собственно некуда. За секунду такая проблема не решится, за несколько минут тоже.

Франц же поглаживает мое плечо, задевая волосы, серьезный и собранный, а я в чертово крошево. Вцепившись в него, как в спасательный круг, и выполоскать бы себе голову, чтобы не стояло там эхом пресловутое «Аденокарцинома», да не могу. С этим медленным, но жестоким убийцей мне приходилось сталкиваться не раз за свою врачебную карьеру, оперируя опухоль и спасая жизни. Аденокарцинома является наиболее распространенным гистологическим типом немелкоклеточного рака легкого. Данная форма опухоли произрастает из клеток железистого эпителия, который выстилает слизистую оболочку бронхов и альвеол, поэтому ее также называют железистым раком легких. И опасна эта сволочь тем, что на ранней стадии выявить его очень сложно. Чаще всего симптомы приходят тогда, когда операция не сможет никак помочь, остается надежда на химию или лучевую терапию. И то... с метастазами, а те коварны, выживаемость в течение плюс/минус пяти лет не всегда набирает даже жалкие пять десятков процентов.

И это жутко. Не смерть как таковая, к ней я давным давно привыкла. Жутко, что Франц может консультироваться потому что болен, а это ударит по мне чудовищно сильно, потому что, будучи медиком и гордясь профессиональными навыками, внимательностью природной, вдруг проморгала, что ему плохо. А это непростительно.

— Хорошо, что ты здесь, я как раз собирался тебя искать, — вздрагиваю, когда понимаю, что обращается он определенно ко мне.

— Только не говори что ты... — начинаю, отойдя на шаг, смотрю выжидающе, облизываюсь нервно. Паника возвращается. Снова. Потому что Франц молчит — это плохо. И вид его слишком серьезный.

— Нет, не я, — цокает и чуть кривит губы, на секунду прервав контакт глаз. Но херня в том, что на базе есть лишь два человека, из-за которых мне может стать непоправимо больно и страшно. Даже Мадлен и волки не заставят впасть в отчаяние, в случае чего, как бы те ни были относительно близки. Только Франц и Фил. Он об этом знает, знаю и я.

И земля уходит из-под ног. Я в ужасе пришла к нему, в ужасе теперь хочу сбежать, понимая, кто конкретно находится на волосок от смерти и не летящие сучьи пули тому виной. Не острый скальпель или моя ошибка. Хотя и она получается тоже, потому что только успела немного расслабиться и проебала все, что только могла проебать. Умудрившись забеременеть, не понимая от кого именно из них двоих, теперь же рискуя еще и потерять. И если вопрос с беременностью легко решаем, дело пары часов. То рак легкого, а я по разговору не поняла насколько все плачевно — вообще не шутка.

— Когда вы узнали? — Хриплю, голос дрожит, дрожат и руки.

— Пару недель назад, он вообще тебе говорить не планировал, я заметил случайно, убедил обследоваться хотя бы минимально. Случай не запущенный, и есть неплохие шансы, если он начнет лечиться прямо сейчас.

— А он?

— Не планирует начинать, насколько мне известно. — Закуривает, быстро поджигая сигарету и выдыхая тугую струю дыма в сторону. — По-хорошему ему нужно ехать в центр, там есть отличные онкологи, несколько из них точно согласны взяться за его случай. Но, если Макс не умеет нормально болеть и ведет себя как еблан редкостный в восьмидесяти

процентах случаев. То твой любимый Фил — абсолютный ублюдок в ста.

— Басов мог бы помочь. Не все препараты в свободном доступе, даже за баснословные суммы. Очень многие, довольно действенные вещи в массы не выходят, не выгодно. Альтернативные методы, помимо операций и... — Начинаю тараторить, перебирая свои пальцы, глядя куда-то в стенку и не понимая, говорю я ему, потому что сведуща хотя бы немного и понимаю риски, или же успокаиваю себя, что вероятно все же есть выход и варианты. Но не помогает. Паника, как появилась, так и стоит бок о бок и смрадно дышит и по обе стороны головы, и четко в затылок. Леденящей сучьей дрожью, сковывая тело.

— Мог бы, — соглашается. — Святослав в курсе, говорила ли ты...

— Нет. Пока что нет, но видимо самое время, — выдыхаю, пячусь, хмурюсь, закрываю свой рот и решаю, что о ребенке говорить я сейчас вообще не готова. Нет у меня сил обсуждать еще и это, после подобной новости. Все кажется слишком неважным после угрозы, совершенно реальной угрозы жизни дорогому мне человеку. С моей судьбой давно решено, тут никаких загадок и надежд, как ни крути — будущего нет, у скрытых тайных желаний. Нет. Будущего. Но об этом я подумаю после.

Под мелькнувшее непонимание напротив, на дне темных глянцево-вишневых глаз — ухожу. Слыша стук собственных каблуков, что вбивается острым гвоздем в висок нестерпимой болью. Под веками удивительно сухо до треска, до скрежета сухо, веки, словно противно-шершавая бумага. Воздух какой-то пустой, словно из него выкачали кислород полностью. Я задыхаюсь. Дрожь нарастает, но я иду вперед, игнорируя и взгляды, и ветер, порывом бросивший мне в лицо волосы и пыль поднявшуюся следом.

Я иду неживая. Но дышащая.

Иду и не знаю, что сказать, когда увижу напротив синеглазое небо, какую из новостей озвучить ему первой. То, что я беременна и вероятно от него или то, что в курсе его маленького, гнусного, смертельного секрета.

— Я беременна, — вырывается вместо «привет». Скулы болят от напряжения, голова раскалывается надвое. Ходить кругами, смягчать правду, обрушивать следом — «Возможно от тебя» — нет моральных сил. Да и что даст ему это знание? — Это первое что я хочу сказать. И второе — меня пиздец как сильно злит то, что ты так долго молчал о состоянии собственного здоровья.

— Хм, поздравляю? — С сомнение тянет и подходит ближе, внимательно всматриваясь в мое лицо. — И стопроцентно пока шагала сюда, как Гитлер в юбке, успела начать проклинать меня и винить себя.

— Мне нужно в центр. Нам обоим, на самом деле. И в ближайшие несколько часов, а может и дней, я совершенно не готова обсуждать ни первое, ни второе.

— Отец-то в курсе, что ты собираешься избавляться от подарка в своем животе? — «В курсе один из вероятных» — хочется прошептать, но губы будто склеило намертво. Потому что всего одним единственным вопросом он совершенно точно дает понять, что себя в графу потенциального родителя, он не относит стопроцентно. Уверенный, что тот от Франца. И мне бы удивляться, ведь шансы у обоих примерно равны. Да удивляться не хочется. Как и признавать, что, похоже, ожидала другой реакции. Что вообще не понимаю, какого хера происходит. У него сраная карцинома в легком, что опасно по многим параметрам. А у меня внутри не карцинома конечно, но тоже потенциально проблемная... проблемный... господи, боже. Я даже спокойно говорить о ребенке не способна в своем состоянии. Нервы натянуты настолько сильно, что грозятся истончившимися канатами рвануть, исполосовав меня

полностью. Окончательно исполосовать, без шанса отойти когда-либо от удара.

И снова хочется крови. Хочется порошка. Таблетку под язык и в глотку вместе со слюной. Хочется кайфа и боли. Хочется сделать себе что-то отвратительное, чтобы остались шрамы навсегда, потому что, черт возьми, заслужила. Все что со мной происходит — я заслужила.

Абсолютно все.

И эта мысль бьется и по пути в комнату, и когда собираю необходимые на первое время вещи, и когда иду к машине Стаса, возле которой курит Фил, и когда присаживаюсь на заднее сидение, и когда по пути в центр, гипнотизирую открывающиеся блеклые виды.

Мне не просто плохо. Мне кошмарно. Меня замыкает настолько сильно, что чтобы не скулить в голос и не орать, срывая связки, я просто молчу. Изгрызая свои щеки изнутри в кровавый фарш. Разодрав себе ногтями запястье и не заметив, пока не чувствую влагу под подушечками пальцев. И спрятать бы свежие ранки под длинный рукав тонкой блузки, но... я запускаю ногти глубже. Наслаждаясь острым жжением. Перечным. Запретным, неправильным жжением. Скребу и становится чуть легче, боль заземляет и дарует обманчивое ощущение контроля. Скребу и понимаю, что не дотерплю до центра, тупо сорвусь и буду или рыдать, или творить что-то максимально ненормальное, потому высыпав на ладонь сразу несколько продолговатых колес, проглатываю те без воды. Сильное успокоительное, слишком сильное, чтобы не суметь вырубить часть, в конец изнасиловавших мои внутренности, эмоций.

И добиваюсь лишь того, что по приезде на квартиру Стаса — вырубаясь мгновенно, едва сбрасываю туфли у входа в комнату. Услышав лишь, что их не будет несколько суток, но если произойдет что-то срочное — можно писать, звонить нежелательно. Куда они влезают, меня не касается, потому расспрашивать, даже не делаю попыток, предоставив синтетическому временному спокойствию свое истерзанное тело.

В одиночестве серьезные вещи обдумывать опасно тем, у кого явные проблемы с психикой, и принятием правильных решений. В одиночестве что-либо обдумывать, тем более, действовать кому-то, вроде меня — категорически нельзя. Потому что в этом самом одиночестве я обычно делаю что-то крайне опасное, иногда страшное и максимально безумное. Например — царапаю поверхностными порезами собственное тело. Привычная еще с подросткового возраста практика — причинение себе вреда путем вот такого нехитрого кровопускания, всегда как особая личная медитация, давала время на «подумать».

Но, то ли ситуация из разряда «слишком», то ли усилий приложено мало — не помогает. Не в этот раз. И скальпель летит в раковину, брызги крови по белоснежной поверхности стекают как-то уродливо. Яркий свет лампочки слепит уставшие глаза.

Мне плохо. Вообще не новость. После принятой ударной дозы успокоительного немного тянет живот. Очевидно, что беременной, пусть срок и мал не стоит забрасываться чем-то вроде ксанакса и подобных аналогов. Пусть беременная, то есть я, рожать и не планирует в будущем. Не этого ребенка так точно, а может и вообще... Будет ли он у меня, после того, как я совершу непоправимое? Мм? Будет? Очень сомневаюсь, и без того давно убежденная в своей низкой фертильности и практически полном бесплодии, я и не ждала вот таких сюрпризов. Но жизнь такая сука...

И теперь, обдолбанная очередной дозой успокоительных. Смотрящая на грамм белесого порошка, лежащего на тумбочке, раздумываю... Насколько по-конченному выглядит то, что я делаю и с собой, и с тем, кто пока что существует внутри меня, а? Насколько сильно я скатилась, насколько низко упала? И кто, на самом деле, в этом всем виноват? Воспитание? Его у меня не было. Детство, окруженное угрозами и разочарованием — не более. Родилась с червоточиной? Испорченная? Бракованная? Может моей матери тоже стоило сделать то, что вторые сутки не могу решиться я?

Щекотка в ноздрях и вспышка боли в висках. А из глаз почему-то срываются слезы. Градом. Нескончаемым потоком. Меня подкашивает словно дерево, которое прогнула непогода... после попросту сломав под корень. И оказавшись внезапно задницей на холодном кафеле посреди ванной, я смотрю на свои окровавленные руки долгие несколько минут, в течение которых понимаю, что это не комната шатается, это я дрожу всем телом и рыдаю как сука. Захлебываясь, едва умудряясь дышать, тру свои щеки, кусаю пальцы, оставляя вмятины-следы, не рассчитав силы, прокусываю воспаленную кожу и чувствую вкус собственной крови. Рыдаю, до чертовой икоты, снова царапая и без того пострадавшие руки, рыдаю не в силах остановиться. И не помогает принятая доза, таблетки тоже почему-то не действуют. Не в этот сраный раз.

И рядом никого, кто мог бы помочь. Кто захотел бы. У кого, это могло бы выйти. Никого. Как слоган сучьей жизни. Никого и никогда. Такой твари бесполезной, как я, точно такой же конченный конец. В одиночестве. Гнетущем, смрадном, ебаном одиночестве.

Но умирать не хочется. Жить, впрочем, особо тоже. Хочется рыдать, а еще крови. И тишины, но тихо плакать не выходит. Справляться с тем, что свалилось огромной глыбой, бетонной, с острыми колючими шпильями, которая придавила собой, искалечив — не получается. Не вывожу. Не могу этого сделать одна. И не просто ломаюсь, я докрошила до

конца скудные остатки рассудка. Безумие такое родное и слишком давно поджидавшее окутывает и утаскивает туда, где темно и тихо. Туда, где нет ни голосов, ни мыслей, ни чувств. Безумие попросту в середине истерики меня вырубает, словно кто-то подкрался и ударил с силой по затылку.

Вырубает, но проснувшись ранним утром следующего дня, понимаю, что тянуть больше нельзя. Нужно начать действовать. И начинать надо с малого. А после сосредоточится на том, чтобы один из троих, кто похитил часть зачем-то все еще бьющегося в груди сердца, выжил в этом развалившемся к чертям мире. Потому что, потеряв себя, потеряв веру в будущее, потеряв шанс себя же простить в итоге, я не могу потерять его. Не могу. После такого не выживают.

И номер, который на глянцевої карточке написан быстро и рвано Джеймсом — вбивается в мобильный. На том конце провода отвечает вежливый женский голос. И спустя каких-то три с половиной часа я сижу в просторном, стерильном кабинете и подписываю документы о согласии на вторжение в собственное тело. Абсолютно смехотворная сумма за намеренное убийство. Жизнь нерожденного ребенка в наше время обесценена полностью. И тут как не приукрашивай и как не оправдывай, убийство — убийством является в любом из случаев. Кто, как не я, отнимавшая жизнь по разным на то причинам это знаю.

Оплатив эту низость, подталкиваемая вперед легкой, якобы понимающей улыбкой девушки, которая избавит меня от нежелательной, по их мнению, беременности, укладываюсь на кушетку и говорю себе, что другого выхода быть не могло. Просто так вышло. Просто такое время. Просто такой мир. Просто вот такая я, неспособная дать продолжение своего рода, потому что изломана полностью. Потому что безумие, что живет во мне, вероятно переданное от родной матери, как предрасположенность к душевным болезням, может пойти дальше и захватить власть над безгрешным, чистым существом. Непозволительная роскошь. Я просто снова налажаю, если позволю себе поверить в другой исход. Налажаю, потому что не справлюсь и изуродую не только свою жизнь. А ответственность и я... даже не близко.

Ошибка за ошибкой... Мелкими плитками, ровным рядом, вымощенная моими же решениями — дорога в рукотворный ад. Ошибка за ошибкой... И первая, самая главная: в том, что я, вопреки здравому смыслу — начала подражать. Ему — мужчине. Системе грязных мыслей, обесцененных вещей, утопичности мира. И впустила это в себя — разрушение.

Вторая оказалась еще глупее — перестала отказывать. Слишком давно, чтобы вдруг резко начать. И в конечном итоге это решило все. Это, а именно — моя безотказность, все сломало.

Ведь если Джеймс был чертовой штормовой волной, который подхватил когда-то и выбросил в пенное море теневой стороны, в итоге утащив на дно. То Франц именно им и оказался — моим губительным дном. Красивым. Спокойным. Смертельно-опасным.

Джеймс лишил сил к сопротивлению. Франц вовремя оказался рядом и поработил. Фил же стал необходимостью и абсолютотом.

И вот она я — в темной комнате без окон, в тусклом свете единственной лампочки, в матовой поверхности стеклянного стола пытаюсь рассмотреть то, что осталось от моей личности. В прозрачных поблескивающих осколках возле босой ступни на полу. В алых, слишком контрастно-ярких каплях, стекающих по бледной коже рук.

Мне не больно. Мне тихо. Мне странно и страшно. Потому что буквально год назад жизнь казалась обманчиво упорядоченной, в ней был хоть какой-то смысл что-либо ради себя делать. Глупая выдуманная цель и губительные, душащие, но привычные чувства. Сильные, но не разрушающие до конца, если держать ровно каждое по разные стороны разума и сердца, запирая в изолированные, индивидуальные комнаты и не пытаюсь смешивать.

Убивающие, если концентратом вогнать глубоко в вены и пустить в кровь... словно наркотик. Абсолютно дезориентирующие. Потому что любить троих мужчин одновременно чудовищно сильно, но совершенно по-разному — невозможно сложно. И отказаться никак. Потому что если потеряю хоть кого-то — не станет меня. Или уже не стало, я растворилась в этих чувствах, словно таблетка аспирина — показавшая свою мимолетную пользу и покинувшая.

— Что ты сделала? — Знакомый, вкрадчивый голос проникает в уши нехотя. Проникает медленно, будто дымка. Проникает болезненно, словно способен исполосовать быстрее, чем смертельно-опасное, острое лезвие. — Веста, что, мать твою, ты сделала? — Крепкие руки, вздергивающие вверх, заставляющие встать на ноги, распрямить задеревеневшие мышцы, которые свело судорогой от слишком долго неизменной позы.

Тело онемевшее. Чувства слишком яркие. Боль буквально осязаемая и имеющая запах свежей крови. И глаза напротив запретно синие. Глаза напротив — мое личное небо. Глаза напротив одни из тех, что распотрошили душу. Он один из тех, кто изолирован в сердце. Он тот, кто способен причинить мне боль. Потому что я позволила. Сама.

Ему. Всегда.

— Веста?

А капли по щекам стекают прозрачные, горчащие на губах и холодные. Я смотрю на него и не понимаю ни что ответить, ни надо ли вообще что-либо говорить.

А капли по пальцам стекают глянцево-красные, щекоткой по коже, горячие. Я не собиралась убивать себя, просто порезалась, совершенно случайно раздавив чертов стакан в руке, но сил перевязать раны нет. Нет и желания.

А капли стекающие внутри, где-то глубоко — матово-черные, ядовитые, прожигают кислотой дорожки на самой душе. Она теперь еще более темная, чем была ранее. И дело не в том, скольких я успела за столько лет лишиться жизни. Дело в том, кого конкретно парой часов ранее решила убить.

— Веста?

— Его больше нет, — разводы на светлом шелке блузки грязные. Кровь безобразно портит дорогую ткань. А руки дрожат. Мне бы хотелось не сожалеть, мне бы хотелось перестать тихо скулить внутри, скулить и плакать о потере, о невозможности желаемого расклада, о страхе. Мне бы многое хотелось, но... — Его нет, Фил. Больше нет. — Пальцы дрожат касаясь плоского живота, комкая и без того испачканную ткань. Их хочется погрузить в собственное тело, чтобы наверняка проверить осталось ли хоть что-то от комка моих чувств и нервных окончаний, от сгустка клеток, от боли, что фантомно дробит теперь все кости и тянет, отдаваясь судорогой в ногах.

— Что ты сделала?

— Он не простит меня, я не хочу, чтобы даже пытался. — Задыхаюсь, уткнувшись в теплую шею. Задерживая дыхание, пока не начинает темнеть в глазах. — Не хочу и боюсь.

— Зачем? — Выдыхает, и вместо того чтобы оттолкнуть, уйти, и сделать то, что я на

самом деле заслужила — прижимает крепче. — Дура, блять. Какая же ты пустоголовая дура. Все ведь могло быть иначе.

— Нет. — Мотаю головой, хоть и получается с трудом. — Нет, не могло.

— Почему?

— Я не знала, чей он.

Замираю после роковых слов. Замирает и Фил. Оказавшись в квартире в рекордные сроки, после моего сброшенного: «Ты нужен мне, пожалуйста, я не справляюсь». Он стоит слишком близко, почти срастаясь с моим дрожащим телом, и создается ощущение, что не дышит. Потому что я не чувствую колебаний его груди. Ни вдохов. Ни выдохов. Ни единого потока воздуха за десятки секунд. Он словно растворился, почему оставшись картинкой стоящей напротив. Я вообще ничего не слышу, все воспринимается, будто на периферии и ужас внутри нарастает диаметрально увеличивающейся точке его зрачка.

— Пиздец, блять, — выдыхает резко сквозь сцепленные зубы. Чересчур в нашей густой тишине громко и свистяще. С секундной заминкой отшатывается, волосы хлестко ударяют его по бледным щекам. Взгляд острым цветным лезвием так непривычно больно режет, что я начинаю быстро и растерянно моргать, а он достает сигарету и закуривает. Слишком дерганные его движения, почти хаотичные и быстрые, вместо привычной плавности и изящности.

— Тебе же нельзя, с твоим диагнозом, — начинаю на автомате про чертово курение, а он срывается на крик. Впервые при мне. Впервые на меня. А я обрываю свой нелепый неуместный шепот.

— Да похуй, Вест, похуй, блять что нельзя, — я слышала, как он умеет рычать. Раньше не пугало, временами даже нравилось. Я слышала, каким жестким он может быть с кем-то другим. Четкие команды, агрессивные выпады, бескомпромиссность и превосходство в каждой черте и взгляде. Я все это слышала, видела и втайне даже восхищалась. Но наблюдать со стороны одно. Оказаться на месте тех многих, кому посчастливилось, или же наоборот, не приходилось. И не зря. Он пугающий. Пусть и все еще аномально родной. — Сейчас вообще на все похуй.

Запускает пальцы в волосы поигрывая желваками, расчесывает длинные пряди рукой, глубоко затягивается и прикрыв глаза шумно выдыхает густой, горчащий на кончике языка дым. Он молчит, а мне хочется ощутить не фантомно, а натурально вкус табака во рту и удавиться нахер от горечи и безнадёги. Я налажала, сильно налажала и впору начать умолять его не уходить, простить и не оставлять меня убогую. Он молчит, но смотрит, сука, без осуждения, все еще вопреки дерьму, что я натворила, он смотрит, успокаиваясь на моих же глазах. Пусть и плещется там, в синеве его небесного взгляда что-то темное, опасное, абсолютно непонятное и густое, как твердеющая на воздухе смола. А мне страшно, что он докурит, развернется и уйдет. Навсегда уйдет, бросив здесь, как использованную и ставшую ненужной вещь. Насрав и на связь аномальную, и на то, что похожи как близнецы во многом, что души давно связало так сильно, что не развязать, не растащить в стороны, не расклеить. Мне страшно его потерять во всех долбанных смыслах. Я зависима. Бесповоротно. Невероятно сильно зависима. От троих. Святых. А еще порошка. Совсем, увы, не святого... пусть тот и зовут ангельским.

Проще было бы убиться сию же секунду, и не мучить ни себя, ни окружающих, привязывая тех к себе болью и кровью. И своей, и чужой. У связей подобных всегда есть последствия и, чаще всего, они абсолютно не невинны. И лучше бы мне сдохнуть, правда.

Вместо безымянного своего-чужого ребенка, который уже никогда не родится. А мог бы. Мне лучше бы сдохнуть, но я почему-то живу.

— Скоро здесь будет Док, — вздрагиваю, когда слышу голос Фила. — Я догадывался, что ты страдаешь хуйней, пока я пытаюсь вытащить Макса из очередного дерьма, — фыркает и смотрит исподлобья, в мгновение став настолько уставшим, что меня накрывает жгучим стыдом. — Не догадывался, правда, насколько отборным дерьмом, дорогая. И что тоже, оказывается, замешан. Но тут уже мой проеб и невнимательность. — Кивает сам себе задумчиво. — Теперь, видимо, придется разгрести все, не отходя от кассы. Хотелось бы, чтобы все было иначе, но нет. Решать вопросы настолько глобальные ты у нас захотела в одиночку.

Когда успела оказаться на ногах? Не знаю. Но пальцы дрожат, ледяные, словно кровь покинула конечности, сконцентрировавшись в центре моей груди, где почему-то вопреки всему кровавый мотор, перекачивает алуу. Сажусь на диван, и послушно вытягиваю руки, когда Фил приходит с аптечкой. Потухший словно фитиль, который смочили водой. Больше не пытается ни орать, ни что-либо спрашивать. Не чувствуется между нами ни осуждения, ни боли, ни разочарования. Чувствуется только звенящая безысходностью пустота и чернильная, омерзительная на вкус — скорбь. Моя. И его непонимание, которое прошло каждую красивую черту идеального лица.

Вероятно Фил даже не догадывался, как много дерьма я привнесу в его и без того нелегкую жизнь. Похоже, только его — дерьмо, я и способна приносить в жизни многих. Всех, на самом деле. От меня ничего кроме кучи дерьма ждать и не стоит. Возможно, никто теперь и ждет...

А минуты, сливающиеся в часы в ожидании приезда Франца тянутся жвачкой. Липко от холодного пота и невыносимо страшно. Ощущение словно я теряю всех одновременно, словно все к чему прикасаюсь, рассыпается в моих же руках, как чертов песок, ускользя сквозь пальцы. И это не просто одиночество, это какое-то кредо по жизни. Приблуди — оцени — привяжись — проеби. Правило. Клеймо, что на внутренней стороне черепа, вместе с абсолютно неправильно работающим мозгом, когда дело касается отношений и чувств. Неважно дружеские отношения или любовные, любые. Я ломаю все. Теряю. Упускаю. Похоже, нужно перестать даже пытаться что-то выстраивать. Наверное, просто стоит прекратить. Навсегда.

Ждать Франца, словно ждать казни. Он конечно терпелив по многим параметрам, и сумел удивить своей заботой совершенно в мою сторону необоснованной. Своим теплом, которое на такую, как я, растрчивал. Он давал мне любовь, а я ее стопроцентно не заслужила. Отношение настолько чуткое и интуитивно правильное, что мне бы молиться на его образ и падать в ноги преклоняясь, а я приношу лишь пресловутое «дерьмо». Ждать его жутко. Не отвлекает ни боль, которая обычно стабилизирует, ни присутствие Фила совсем рядом. Ничто не способно отвлечь от захватившего все внутренности, словно в тиски, ужаса от предстоящей такой явной потери.

И не видно в этой вязкой тьме ни конца, ни края. Я хочу вырваться из гребанного ада, перестать зациклено ходить одной и той же ошибочной дорогой, по кругу ходить, но не могу. Не вижу решения, не понимаю, как действовать. Не справляюсь.

Я не справляюсь...

Спустя несколько часов, счет которым вести я даже не пыталась, приезжает Франц. Все

такой же теплый, все такой же сосредоточенный и спокойный. Смотрит изучающе, пронизательно, будто забирается мне под кожу и вытягивает прямиком из уставших вен все ответы разом. Из сердца вытягивая. А мне хочется сдохнуть и перестать существовать полностью, когда Фил, поняв, что я не способна произнести ни слова, сам рассказывает все. Абсолютно все. От начала и до гребанного конца. Конец, который только что для меня настал. Персонального конца.

Я понимаю, что, наверное, любовь так и проявляется, заботой несмотря ни на что. Заботой, которая и ломает, и дробит, и убивает в итоге порой. Он хочет как лучше, он видит, что все не просто плохо, всему пришел пиздец. Я его сама сотворила. И выхода тут действительно иного нет. Молчание ничего не исправит. Тайны не лечат. Скрытое предательство, которым я всю жизнь занималась не особо-то и скрываясь, рано или поздно должно было всплыть. Глупо было думать, что спать с двумя мужчинами, и мы сейчас не об аморальности моего поведения, а о схеме как таковой, получится долгое время совершенно беспалевно. Такое только в сериалах существует, в выдуманных сюжетах и мирах. Не в реальной жизни. К сожалению, или же счастью.

Я понимаю, что правда в каком-то смысле освободит. Что боль, наверное, очистит, что свалившись ниже некуда, я могу начать рассматривать пути подъема и возврата самой себя. Полностью растеряв, наконец, начать приобретать хоть что-то. Были бы силы. Было бы желание. Была бы помощь извне.

Франц выслушивает очень внимательно. И прочитать хоть что-то по его лицу нереально. Мне бы хотелось, чтобы тот сорвался и наорал, обзывал, послал меня раз и навсегда, зато не казался вот таким равнодушным. Хотя кому я вру... если он пошлет, да так что безвозвратно, скорее всего, не станет меня. Без них обоих не станет. Какое клише. И после той густой умиротворенности, что порой накрывала наедине с ним, сейчас лишь контрастное звенящее напряжение. Мы все трое как оголенные провода. Еще немного... и рванет.

И неизвестно с какой из сторон.

А неизвестность сводит с ума. Как и воцарившееся плотное молчание, словно густой смог висящее. Это жутко находиться в комнате с двумя живыми, дышащими людьми, но не слышать с их стороны ни единого звука. Я медленно моргаю, переводя взгляд с одной замершей фигуры на другую, и начинает казаться, что те долбаные призраки. Две странные, диаметрально противоположные, совершенно разные тени. Почему-то цветные. Почему-то меня замечающие, теням ведь должно быть все равно? Верно?

А эти смотрят и смотрят слишком внимательно, словно именно я должна что-то предпринять, только что конкретно, ни черта не понимаю. И если Францу хватает выдержки тянуть время, то Фил громко цокнув, уходит. И если первые пятнадцать минут мне казалось, что он вот-вот вернется, то последующие полчаса густого молчания явно говорят о том, что мы с Францем одни, и хорошо ли это — вопрос открытый.

Он молчит. Все еще молчит. Все еще просто смотрит, и в глазах его так много всего, а я не в силах прочитать и сотой доли. От этой накрывшей беспомощности хочется орать и впадать в такое привычное за последнее время безумие. Хочется снова крови и боли, а еще порошка или таблеток. И желание такое сильное... до чертова зуда под кожей. До щекотки в нервах, навязчивой, отвратительной щекотки и не спрятаться ни от себя, ни от разрушительных желаний, ни от внимательно изучающих вишневых глаз.

Он молчит. Только взгляд все темнее с каждой минутой, и вообще не новость, что не

выдерживаю первой.

— Что конкретно тебя так сильно задело, Франц? Тот факт, что я убила, вероятно, нашего общего ребенка несколько часов назад, то, что я не рассказала тебе об этом сама, до или после произошедшего или то, что я спала с вами обоими одновременно? — Более безжизненным мой тон не был еще, пожалуй, никогда. Разве что в тот день, когда умер отец, хотя все же в голосе были хоть какие-то оттенки. Тогда. Сейчас нет ничего. Я концентрация пустоты. Болезненно вибрирующей, беспомощной, одинокой. Концентрация боли. Потому что болит и тело, и душа, и сердце. Кажется даже, что невозможно — мысли. Мне больно. Мне так сильно больно, что сжимаются в спазме сосуды, скручивает фантомной судорогой мышцы, а в голове тихий, монотонный писк. Мне так больно от бесконечных потерь, от страха, что преследует по пятам и никуда от него не скрыться, от собственной сломленности и неполноценности. От невозможности огромного количества вещей, о недопустимости их в моей жизни, в виду ментального и физического здоровья. Я чертов обреченный, еще при жизни, потенциальный мертвец. Сраное зомби, с этими так раздражающими меня с детства ледяными голубыми глазами.

Сраное зомби, господи, но почему же так сильно все болит внутри тогда? Почему?

— Что тебя так зацепило, Франц? Предательство или незнание?

Дал бы мне хоть кто-то ответ, почему я сейчас вместо того, чтобы молить его не уходить, молить о прощении моих очередных проебов, молить, потому что, если покинет — одиночество обглодает меня до смерти. Не выкарабкаюсь одна стопроцентно. И в данном конкретном случае даже Фил не помощник.

Дал бы мне кто ответ, почему я кусаю его этими ненужными нам обоим вопросами? Почему намеренно хочу причинить хоть каплю той боли, что испытываю сама, хоть каплю изрыгнуть, впрыснуть в него, чтобы не страдать вот так молчаливо разлагаясь на микрочастицы? Рассыпаясь песком возле его ног. Разлетаясь словно пыль по комнате.

Дал бы кто этот ебанный ответ. Но его нету. Ни от Франца, ни от кого-либо другого.

— Что, Франц? Что конкретно? — Голос срывается на тихий хрип. Взгляд кажущийся вишневым, теперь гладкий и черный — раскаленная галька, покрытая блестящей смолой. Адский взгляд. Инфернальный. Его зрачок — раскаленная точка, обласканный пламенем уголь. — Что?

Слез нет. Есть дрожь, ее так много. В каждом органе особой звуковой волной, словно каждый нерв превратился в мерзкое насекомое и начал жужжать. В теле натуральный гул. В каждой клетке дрожь. В каждой мысли. В кончиках ледяных пальцев, в горле и глотать не выходит, там дребезжащий отчаянием ком.

Это не паника. Уже даже не ужас. Боль поглотила все. Утопила в себе. Полностью. Боль наказывает, измывается как стервятница на и без того гниющей душе. Долбанная сука, которой всегда мало.

— Что, Франц? — Последняя попытка. Не провальная. Но, наверное, лучше бы она ей как раз таки была.

— Ты сказала ему, — не знаю, что конкретно бьет будто пощечина. Наотмашь и слишком сильно. Его спокойный, с легкой еле уловимой ноткой презрения тон или то, как он демонстративно отходит к окну, чтобы еще больше увеличить дистанцию. Всегда шел навстречу, как бы я не проебалась. Оказывался рядом, спрашивал, слушал, выяснял. Не был доволен, но не уходил. А теперь отдаляется. Сделав свой картинный шаг в сторону.

— Я не успела, Франц. Не успела, черт бы тебя побрал, я пришла в ужасе после

разговора с Джеймсом к тебе, но ты был занят. Ты был отвлечен от моего расшатанного состояния, ты упустил тот момент сам.

— Я, разговаривал с онкологом из-за его проблемы. Для тебя. И выслушав о диагнозе, о моей попытке помощи, ты просто молча ушла к нему. Я не буду спрашивать, в чем твоя проблема, их слишком дохуя, чтобы разбирать по частям. Мне просто интересно, не позвони он сегодня мне сам, ты когда вообще собиралась рассказать обо всем?

Голос выдержан как терпкое вино, которое не один год, а быть может и не один десяток лет, хранилось в подвале. В нем так много оттенков, куча, долбанная куча всего, а я прочесть ничего не способна в своем болезненном оглушенном состоянии.

Придавленная словами. Раздавленная. И жаловаться глупо, сама виновата, но блять...

— Не знаю, я не знаю... Вас слишком много для меня одной. — Бормочу, запустив в волосы обе руки. Слишком много их всех. Джеймс с его порабощающей аурой, Фил с его позволяющим совершенно все поведением, и Франц с теплом аномальным и таким необходимым. Я не могу выбирать, я не способна вообще что-либо сама выбрать. Я просто чувствую так много к ним всем... и это ломает. Я слишком многое чувствую, в слишком многом варюсь. И не вывожу. — Я люблю тебя, правда, люблю. — Поднимаю глаза, встаю, пошатнувшись, но сажусь снова обратно. — Люблю твое тепло, его так много и все для меня. Оно такое исцеляющее, такое яркое, словно домашний очаг, такое уютное. — А на ногтях снова сколы. А в душе только удушающим полотном, неоднородным осадком пепел. — Я люблю Фила, с первого взгляда поняла, что он свой до последней капли. Идеально сломанный, как и я. Душа родственная, почему-то поделенная на два тела. Я не объясню, как так вышло, что вот такая необъяснимая и странная связь установилась. И почему вообще между нами был секс, он нам не нужен. Там все... совершенно другое по ощущениям. А Джеймса, его я люблю слишком давно и слишком сильно зависима. — Господи, какой бред слетает с моего языка, бред кажущийся правдой, блядской истиной, сгустками боли, которая на губах сверкает в каплях густой слюны. — Я не понимаю, я ни черта не понимаю. Вас слишком много, а я одна. Я одна, Франц. Я больна, безумна и полностью сломана.

Я хочу себе кнопку, чтобы меня или перезапустило или выключила полностью. Навсегда выключило. Я хочу эту сраную кнопку, только бы не видеть этих ягодных глаз, отравляющих своей нечитабельностью. Чем-то незнакомым на самом дне. Я хочу кнопку. Просто пусть что-то, что способно подобное проверить — вырубит меня. Сейчас. Немедленно.

— Твоей любви слишком мало, чтобы стать аргументом. Ее слишком мало, чтобы что-либо решить. — Отрицательно покачивает головой. Закуривает и смотрит прямо, тяжело, и меня как букашку размазывает от силы его взгляда. Там нет ненависти, но там что-то обжигающе и не в хорошем смысле этого слова. Но помимо черноты и резкости, остроты, словно его радужка стала холодным оружием, там читается явное, неприкрытое разочарование. И решимость. — Ты можешь любить хоть прикроватную тумбочку, в некоторых случаях, даже взаимно. Но проблема здесь не в том, что ты напрочь спутала все возможные понятия и совсем не понимаешь, о чем толком говоришь. Проблема в том, что менять ты ничего не намерена, упорно перекидывая ответственность за свои поступки на псевдо-чувства к другим. Желая, чтобы именно они все за тебя же решили. Только ты — взрослая девочка, Веста. Пора принимать решения самой.

— Я не смогу, — выдыхаю честно. Потому что настолько слаба, что говорю с трудом, о каких радикальных вещах может идти речь вообще? Я могу только сдохнуть, если вдруг

понадобится и на этом все. Точка. Резерв исчерпан слишком давно, вычерпан до самого дна. Износилась. Срок годности подошел к черте, вероятно, успел перешагнуть ее.

— Раз уж тебе нужна мотивация — в этом я помогу. — Снова затяжка долгая, смакующая и дым встающий между нами стеной. Он редко курит, раньше по крайней мере редко курил, в последнее время зачастил... И не без моей явной вины. Везде моя вина. Совершенно везде. И я так от этого устала — быть бесконечно виноватой. Словно иного состояния достичь не в силах, не достойна. — Если ты хочешь вероятность нашей встречи, разговора откровенного и что-либо способного решить — поедешь в специализированное место и начнешь приводить в порядок свой раздробленный и решениями, и наркотиками мозг. Разберись в себе, и я подумаю о том, чтобы дать тебе шанс. Либо продолжай свое саморазрушение, но стопроцентно без моего участия. Я умываю руки.

Недокуренная сигарета летит на пол, раздавленная его ботинком затухает. Спустя не более минуты, слышу щелчок входной двери и остаюсь в полном одиночестве.

Он просто ушел. Поставил точку, обозначил свое отношение к происходящему без криков и истерик. И просто испарился. А у меня кружится голова, я сижу, не дыша... до гипоксии и дрожу. Пересохшие глаза, пересохшие до скрипа, болят, и мне бы поплакать, но слезы то ли закончились, то ли не время и позже накроет. Руки привычно тянутся к сумочке с таблетками, отдергивать их — нет моральных сил. Успокоиться самостоятельно никак. Да и что изменит очередная доза? Что она способна испортить в моем случае? С кем-то отношения? Поздно, блять. Все в руинах. Здоровье? Аналогично. Рассудок? О каком рассудке вообще речь, когда дело меня касается?

Успокоительное под язык вместо синтетики — маленькая псевдо победа в сторону трезвости. Капля в море, пусть и нечеловечески сложных, но усилий. Так себе помощь на самом деле, но дрожь понемногу утихает, зато накрывает осознание. Понимание, что я потеряла вообще все. Абсолютно все. Умудрившись одновременно разочаровать всех, кого люблю. Или думаю, что люблю. Верю в это. Уверенность меркнет после слов Франца. Становится неплотной и полупрозрачной. Чувства, не выдержавшие критики, дымно заполняют собой. Отравленные. То, что казалось незыблемым, вдруг пошатнулось и начало крошиться. И это заставляет задуматься о моей способности верно давать оценку своим же чувствам. Любим. Потому что если это все не любовь, тогда что?

А еще маленький противный червячок обиды подтачивает по краям. Он совершенно ни единого слова не сказал о потерянном ребенке. Вычеркнул того, даже не упомянув ни разу. Словно это незначительный пунктик в наших буднях. Обыденность. Нет ни жалости, ни грусти. У него, похоже, в отношении моей беременности... прерванной — нет даже мелькнувшей мысли. Обесцененная маленькая жизнь. Он не думал, похоже, о совместном настолько далеком будущем и определенных последствиях? Я недостаточно хороша? Не способна вызвать желание быть рядом всегда... навсегда, в конце концов? Что не так со мной?

Что не так со всеми нами, если ребенок, его потеря, вдруг просто приравненное к походу в магазин действие?

Почему и в какой момент мы все стали поломаны настолько, что смерть превратилась в незначительную мелочь?

После ночи полной размышлений, в тишине, через две стенки от Фила и Стаса, я принимаю решение начать бороться. Не за кого-то, не ради потенциальных отношений, не по приказу, не из-за ультиматума, ради себя. Потому что резать свое тело и бесконечно плавать в кайфе, разумеется, можно, но надолго меня не хватит. И как бы я не кичилась независимостью перед матерью и сестрой, как бы не пыталась откреститься — они моя ответственность после смерти отца. Одна торчит в психлечебнице, потому что существовать самостоятельно неспособна. Вторая же под присмотром Джеймса дополучает образование в Калифорнии. Обе не вызывают особых теплых чувств, но кровь не вода. Не для меня. И бросить, отказавшись как от мусора в своей жизни — не могу. Не хочу. Сама себе не позволю. И ради того чтобы мы все трое выжили в этом мире гребанных мужчин, я должна быть в форме. А со скальпелем, который не помогает спасти чужие жизни, а калечит мое тело, и с таблетками не ради улучшения здоровья, а как раз наоборот, в форму прийти не смогу. Купаясь в море зависимости от чувств — тоже.

И вот она я с сумкой вещей, телефоном в руке, на заднем сидении машины, смотрю за тем, как мелькают дома за окном, отправляясь в элитный район центра, в специализированную клинику, чтобы начать латать огромные дыры собственной, большой насквозь души. За рулем Фил, сбоку от него Стас и я словно лишняя, хотя вроде и близкая. Он такой красивый в свете утренних лучей солнца. Даже с темными кругами под глазами и сухими розовыми губами. Выглядит болезненно немного, то ли от недосыпа, то ли прогрызается все глубже в него озлобленная раковая опухоль, желающая поскорее убить. А я не в состоянии ему помочь, угрожать нечем, да и смысл? Рак точно не тот вид недуга, который можно побороть без желания больного. Если он не захочет бороться сам, ничего не выйдет, а я буду рыдать, страдать, беспомощно выть какое-то время, а после — скорбеть об очередной потере в своей жизни. Их было так много... Будет еще больше. Блядская закономерность.

А под опущенными веками другая картинка. Под левым мелькает Джеймс. Под правым Франц. Моя зависимость и тихая бездна теплого океана. Их всех куда привычнее считать чем-то эфемерным и возвышенным, мистически прекрасным и особенным, чем давать прямые определения. Причина здесь в искаженности и болезни моего разума или в разбросанных неопределенных чувствах — не знаю. Узнаю ли? Надежда теплится, чем ближе мы к клинике, тем сильнее.

Я полагаюсь на чужую помощь и изолированность от каждого из троих. Надеюсь, что за это время не потеряю ни Фила, ни Франца. Джеймса же потерять в своей жизни — желание сильное и внезапное. Он приравнивается к зависимости от наркотиков, которую хотелось бы оставить за закрытыми дверями клиники. Там хочется оставить многое и пока решимость теплится, я медитативно дышу и настраиваюсь, готовая молиться любым богам, чтобы если не у меня, то у кого-то другого хватило сил справиться со всем скопившимся в моей голове и жизни дерьмом.

И ворота огражденной территории встречают хоть и ожидаемо, но все же неожиданно быстро. И времени мне оставляют то ли слишком много, то ли чудовищно мало, после официально оформленной палаты/комнаты в компании Фила, с которым я хочу напоследок

поговорить. И полчаса пролетают в разговоре ни о чем. Он просит меня быть осторожной в словах и мыслях. Просит начать любить себя, прекратив так много думать о других. Потому что чрезмерный эгоизм куда лучше его полного отсутствия, а я, нацепив маску суки, демонстрируя ее всем и каждому окружающему, неумело скрываю гребанного мученика под ней. Фил просит начать жить для себя и ради себя. Иначе он со своей прогрессирующей онкологией сдохнет позже, чем я со своим отравленным мозгом.

— Позвони брату, придурок, попроси, раз собираешься сдыхать вместо того чтобы лечиться пока есть неплохие шансы. Я понимаю, почему меня бросил Франц, я предала его. Но почему планируешь бросить ты, сдохнув от смертельной заразы — понять не могу. — Листок бумаги с номером Святослава оказывается в его руке. Взгляд, которым награждают меня, явно не ожидавший таких откровений, похож не на грозное небо, не на небо как таковое вообще. Там страшная, пугающая воронка и чертова пропасть.

— О чем ты, блять? — Удивление? Не думаю. Плохо скрываемый шок и выкрученная на максимум подозрительность. Да, я выгляжу умалишенной, вероятно, ей же в его глазах и являюсь в данную минуту.

— У тебя есть брат. Кровный. По матери. Басов Святослав Леонидович. Я лично делала тест ДНК несколько месяцев назад. Он в курсе, теперь в курсе и ты, я сравняла счет. А Джеймс может пойти нахрен с его интригами, твое здоровье мне дороже.

Не смотреть. Не смотреть. Не смотреть в его сторону, чтобы не увидеть очередное разочарование. Очередное, страшное, удушающее, леденящее кровь, обжигающее колотым острым льдом, режущее следом до кровавых ошметков душу. Не смотреть. Кричу сама себе, сжав руки в кулаки, пока тот гипнотизирует то меня, то цифры перед собой. Кричу себе истошно, оглушая судорожные мысли, но смотрю.

— То есть, если бы в моем сраном легком не оказалось сраной опухоли, ты бы продолжала молчать о таком? Seriously? Что с тобой не так, блять? Когда ты успела стать патологической лгуньей? Это особый уровень ебаного доверия в твоём понимании? Скрывать подобные вещи? Важные до ахуения вещи? — Злость искажает его идеальные черты, только мне уже все равно. Время заканчивается. Все что я могла для него сделать — сделала. Остальное уже в руках всемогущих, чтоб их, мужчин. Если решит связаться с братом и начать бороться — преуспеет. Если будет пестовать гордость — нет. В остальном я, слабая женщина в этом разрушенном мире, ровно такая же, как он разрушенная, совершенно бессильна. — Нет, я конечно никуды не святой, но если бы знал, что где-то ходит твоя родная кровь, то первый же человек, который бы услышал от меня такую новость — ты. В кратчайшие сроки.

— Прости, — больше ничего на ум тупо не приходит. Отчаяние скребется за грудью, за ребрами сжимается, будто в огромном кулаке умирающее и от вины, и от боли одновременно, кроваво умывающееся сожалением сердце. — Я люблю тебя, и безумно боюсь потерять. Я понимаю, что ты обижен. Что так нельзя, что неправильно по многим параметрам, но я прошу тебя хотя бы попытаться, когда-нибудь потом... простить меня. Не понять, просто простить, пожалуйста. И так как здесь будет полная изоляция, мне не позволят звонить или писать. Встречи тоже запрещены. Но если ты откажешься от лечения, если поймешь что близок и будешь... — «умирать», не произношу, но имею в виду, и он понимает, хоть и злится до стиснутой с силой челюсти, — дай мне об этом знать. Пожалуйста.

Фил молчит. Сверкает цветным стеклом любимого взгляда, и там так много эмоций,

полярных, сильных и сокрушительных. Там грозное, мрачное небо, и звезды мерцают праведным гневом, а мне бы запомнить каждый оттенок и отпечатать в памяти на всякий случай навсегда. Мне бы насмотреться, и я дрожу словно полностью лишившись в одно мгновения малейших сил, обняв его. Аккуратно, бережно, словно он из хрусталя. Обняв... не взаимно, почти насильно, пока он стоит, опустив руки по швам. Обняв с невероятной болью, словно действительно прощаюсь, и не временно... увы. Обняв и чувствуя огромной силы любовь и взаимный удар его сильного сердца, вдохнув напоследок и мечтая сохранить запах навечно. Если вдруг так окажется, что видимся в последний раз. Не хочу допускать подобного, но заранее морально готовлюсь. И сказать хочется многое, но не говорю больше не слова, и ничего совершенно от него не жду. Бросив последний виноватый взгляд, разворачиваюсь и скрываюсь за закрытыми воротами огражденной территории, которая на ближайшие долгие месяцы мой и дом, и тюрьма.

Свою первую ломку я пережила в подростковом возрасте, когда еще были силы бороться с начинающейся зависимостью самостоятельно. И в виду того, что комбинировано я тогда не принимала, отойти оказалось не то что бы очень сложно в физическом плане. Была тошнота, бессонница и общее недомогание, но кости никто выломать внутри тела не пытался, гвозди в виски тоже не вбивал. Хуже было то, что психологически, с первых же минут о мыслях прекратить творить херню, меня накрыло хлеще других симптомов. Когда в мозгу судорожно бьется — нужно срочно найти еще, и не потому, что ты жить без этого не сможешь. Сможешь. Не хочешь.

Тяга к наркотику очень часто скрыта внутри больной головы. Если конечно ты не вгоняешь себе в вену сваренный на скорую руку состав. Ибо ломка, например героиновая, диаметрально противоположна ломке кокаиновой. Это как пить полудесертное вино, что редко дает сильное похмелье. Или неразбавленное виски. В равных пропорциях разница будет огромной. В неравных... Ну тут уж мы не меряемся ни литражом, ни глотками.

Некоторым довольно легко выйти из-под наркотиков, они сами по себе, по жизни, люди не слишком подверженные зависимостям и употребление скорее привычка, выработанная днями/неделями/месяцами/годами. И все что им требуется — детоксикация и немного терпения.

Мне же, как существу глубоко зависимому по многим параметрам, и боюсь далеко не наркотики разрушительнее всего — так просто выйти невозможно.

Первый шаг в самом начале этого сложного пути — детоксикация. Капельница, а порой и не одна, которая вымывает из организма остатки любого из наркотиков. Быстрый способ, чертов ершик, который резко и больно натирает каждую клетку, отмывая ту от успешного напитать ее разрушительного синтетического счастья. Звучит обнадеживающе, настолько, что ты позволяешь себе обмануться на короткий миг, что капельница окажется волшебной и мгновенно избавит от серьезной проблемы. И это первая ложь, которая после начинает играть с тобой злую шутку.

Потому что вымытый из крови состав ничего не меняет в твоей голове. Более того, мгновенно одна единственная мысль становится навязчивее остальных, а после попросту выгоняет все побочные. Ты хочешь еще. Незамедлительно. Доза кажется глотком воздуха, единственным выходом из приступа паники и вообще смыслом всей твоей разрушенной жизни.

Хотя бы чуть-чуть, просто пройтись пальцами по деснам или ощутить, как таблетка

растворяется на языке или капнуть на кончик жидкий наркотик. Хотя бы что-то, крупицу, пылинку, крошку. Осколок кристалла. Что угодно, только сию же секунду.

И требует этого, увы, не тело. Требует мозг. И разверзается ад, потому что большинство симптомов фантомные и не имеют под собой совершенно ничего, черт возьми, реального, но кажется, что и правда промерзаешь до самых костей, или тебя проваривают в кипятке. Что чесотка в носоглотке натуральная, что кости тянут, ноют монотонно и раздражающе, потому что ломаются. Желудок выключается, весь желудочно-кишечный тракт на самом деле, словно ставит работу на паузу. И остается лишь удивляться, откуда столько лишней жидкости в организме, когда тебя полощет с обеих сторон.

Рвота изматывает, бессонница тоже. Лежа в постели с закрытыми глазами, теоретически проваливаясь в болезненное забытие, ты не отдыхаешь ни на сотую от процента. Мозг не способен позволить себе отдых, пока главная из его проблем найти то, что способно быстро и эффективно снять все негативные симптомы.

И в эти моменты, когда начинается спутанность сознания — я вижу его. Джеймса. Человека, который наряду с наркотиками вызвал во мне зависимость величиной с вселенную. У него нечеловечески темные глаза, разучившиеся моргать. Руки, не знающие жалости, и жестокое каменное сердце.

Я вижу его и прихожу в первобытный ужас, начав совершенно безумно орать, до срыва голоса, в мягкую светлую стену. Вижу его и хочется выцарапать себе глаза, надеясь, что это поможет ему исчезнуть. Но правда состоит в том, что он отпечатан слишком давно на внутренней стороне век. На сетчатке. Под скальпом, на каждой клетке судорожно сжимающегося от боли мозга.

Я вижу его и кричу. Без слез, до сухости в горле, с дрожащими руками, которые сжимаются в кулаки, кричу, надеясь, что связки лопнут. И тогда я захлебнусь от крови. И все закончится. Быстро. Почти безболезненно.

Я вижу его. В чередке черно-белых картин. С красными каплями крови и на выглаженных рукавах, и на щетинистых щеках, и на поджатых тонких губах. Он словно картинный вампир, сошедший с обложки популярного любовного романа смешанного с ужасом. Монстр, не щадящий никого ради собственного насыщения и удовольствия.

Я вижу... и единственным спасением оказывается — доза снотворного в моей крови, чтобы забыться болезненным искусственным сном.

И если Джеймс первый посещает меня в этом отвратительном состоянии, то вторым приходит Фил. Он обрушивается темным, густым, насыщенно-синим небом прямо на голову. И заталкивает в мои ноздри грозовые облака, которые ощущаются ватой. Ватой, потому что я с силой вжимаю лицо в подушку и снова кричу, тихо поскуливая и надеясь, то ли задохнуться в мягкую ткань, то ли оказаться хотя бы в мыслях ближе к нему, ближе к навязанным ощущениям, которые в воспаленном мозге проецируются.

Фил сам не просто синева безграничная, он множество белесых разводов, он густая чернильная боль. И его жрет что-то темное, незнакомое, скалящееся гнилостными почерневшими зубами. Жрет, не пережевывая, проглатывает целые куски, оставляя от конечностей кровавые ошметки мяса и крови. Что-то убивающее его изнутри, прожрав долбаным безразмерным ртом себе путь на волю. А я беспомощна, бесполезна, совершенно потеряна в безгранично-темном небе, в котором нет ничего, даже звезд. Только я, боль и он. И если после приступа галлюцинаций с участием Джеймса мне сумели помочь снотворным, то в случае с Филом тактика не срабатывает.

Организм попросту отказывается выключаться. Меня снова безбожно сильно рвет едва ли не внутренностями. Жалкие крупицы воды, которые я в себя силой запихиваю, тут же оказываются в унитазе. Горло от спазмов болит и жжется, желудочный сок сумел обжечь все от пищевода до мозга, удушающим запахом стоя в носу.

Кости не болят, но болит душа, и каждый орган в абсолютной солидарности ответно вибрирует. И от страха, что мое темное небо может погаснуть и останется лишь бесконечная тьма. И от боли, что я не могу никак его спрятать за пазуху и сберечь. Не могу отдать той зубастой пасти часть себя, пусть нажрется, пусть подавится мразь, пусть лучше меня уничтожит. Я не стою ничего. А он слишком многое значит. Для меня слишком, черт возьми, многое значит.

И в беспомощности крича, хрипя или просто молча раскачиваясь, я осознаю, что вероятно могла похоронить частичку бесконечно синего неба, чудом оказавшегося во мне. Осознаю силу потери возможного совместного ребенка и скорбь, облаченная в черный саван — становится моим тюремщиком и истязателем.

Я убила частичку неба внутри себя и если его не станет, то и правда не останется вообще ничего.

А ведь могло. Но я убила. А ведь могло. Но я...

Очередной приступ приходится купировать не просто снотворным, мне вливают и антидепрессанты, и ноотропы, и транквилизаторы разом, потому что без сна я рассыпаюсь в абсолютное крошево. Без сна видения более реальные, густые и насыщенные, пестрящие сочностью красок и ощущений. Без сна я проваливаюсь в пропасть, из которой выбраться почти нереально, как ни карабкайся. Замещается реальность болезненно-пульсирующей картинкой страхов и боли. Такие явные, такие дышащие, живые картинки. Целый гребанный кровавый калейдоскоп.

Только после пробуждения, после душа, в который я с трудом, но умудряюсь сходить, приходит уже Франц. И если Джеймс олицетворение крови и боли, Фил стал безграничной пустотой и небом, то Франц... Франц со старта принялся топить в себе совершенно без шансов.

Мне начало казаться, что я не просто иду на дно — я к нему приросла. Ноги опутали водоросли и ил, обездвижив полностью. А вода, так много воды и соли... вода, которая на вкус как слезы, вдруг начала заполнять легкие, выталкивая из них кислород. И я задыхаюсь, руки со скрюченными судорогой пальцами, в попытке обхватить собственное горло, лишь царапают его. Но дышать не получается, зато наконец выходит плакать.

Франц наполняет меня влагой, через пересохшие глаза внезапно открывается нескончаемый поток. Слезы текут носом, текут по шее, текут, текут и текут, я умываюсь слезами, которые смачивают потрескавшиеся губы, изувеченные руки, и вместе с болью, мне мучительно легче. Мне легче от запаха вишни, от привкуса табака на кончике языка, что фантомно горчит. Мне легче от прилива тепла, от того как нагревается тело, раскаляется до выступающего пота и волосы прилипают к шее, мокнут на висках, липнут ко лбу. Легче несколько долгих минут длинной в бесконечность, пока море обласкавшее, давшее мне долгожданную возможность выплакать боль, не начало превращаться в стекло. Стекло прозрачное и темное. Почти черное стекло. Которое расходитя трещинами, а после взрывается и вокруг меня, и внутри. Наполнившая меня вода теперь терзает, полосует и убивает. Я кричу от боли, кричу не в силах сделать вдох, кричу, захлебываясь слезами, соплями и подступающей к горлу тошнотой. Кричу, пока не теряю сознание в первый раз.

И словно загнанная в колесо белка... бегу по этому непрекращающемуся кругу несколько дней, которым нет числа. Зацикленная иллюзия все никак не желает меня выплевывать обратно в реальность. Мозг не выдерживает. Недостаток отдыха и невозможность передышки, чтобы уйти от кошмара, отключает организм без препаратов.

Я знала, что примерно нечто подобное придется пережить. Типичные зависимые пациенты страдают лишь от физического недомогания и психологически сильной тяги к запрещенному веществу. Нетипичные представители наркоманов, такие как я, у которых есть довольно приличные проблемы с ментальным здоровьем, в попытке излечиться... могут попросту сойти с ума окончательно.

И я на грани, шагаю по очень тонкому прозрачному льду, едва в силах удержаться за крохи рассудка. Мне больно, страшно и чудовищно одиноко, но я категорически не хочу видеть ни то что святую троицу — людей вообще как таковых видеть желания нет. Совсем. Они вызывают массу неприятных эмоций, пусть и пытаются помочь. От них всех хочется сбежать, только бежать некуда. Контакт с лечащим врачом, который занимается мной персонально, выстраивается мизерными незначительными шажками, и я впервые рада, что это женщина, пусть с женщинами по жизни контактировать я умею еще хуже, чем с мужчинами. Но ей удастся привлечь внимание простейшими словами и действиями.

Плавая на волнах мучительной внутренней боли — отзываюсь на ее участливость, спокойствие и туманно-серые глаза. Потому что она ровно в той же, что и я, лодке, по сути. Женщина в мире сильных, всемогущих мужчин. И потому первое, что я произношу спустя долгие две недели крошечной, вязкой, темной, словно болото, безнадеги, это:

— Моя главная ошибка, — тугим комом с облизанных губ. — Роковая ошибка, — усмехнуться хочется, но не получается. Эмоции застревают в висках, забивают поры, делают связки деревянными, потерявшими навсегда эластичность и гибкость. — Я облажалась, я так сильно облажалась... и вместо того чтобы пытаться исправить хоть что-то, попросту начала подражать мужчинам, хотя когда-то очень давно, один дорогой мне человек сказал, что именно это делать нельзя ни в коем случае. Нельзя, если хочешь сохранить себя и свою целостность. Я не понимала тогда почему, теперь — поздно. Подражая другим — потеряла себя.

— Хочешь сегодня поговорить именно об этом? — Очки в тонкой металлической оправе, круглые, графитово-матовые радужки. Светлая, натурально-персиковая помада. Идеальный пастельный маникюр. Идеально подобранная бижутерия и высота каблука. Ее образ, ее стиль проработан от и до. И это вкупе с умным взглядом и правильными словами чуть убаюкивает мою воспаленную тревожность. В конце концов, я пришла сюда добровольно. Понимая, что будет сложно. Ожидая трудностей на пути к выздоровлению, с чего вдруг начинать внезапно истерически вырываться из пытающихся помочь рук?

— Да, — киваю, глядя на почти полностью стертый со всех пальцев лак и хочется сгрызть себе руки до самых локтей.

— Я могу принести тебе жидкость для снятия лака, это не проблема. А еще мы можем начать с самого начала, так будет проще. Или же разобраться с наиболее волнующим, чтобы суметь двигаться дальше.

— Спасибо, — улыбнуться не получается, но я и правда признательна. Ее чуткости, ее внимательности к деталям.

— Здесь все для твоего комфорта, Веста. Для твоего комфортного, беспроblemного, бережного выздоровления. — Мягкость тона слишком медитативна на мой вкус, но слух

приятно ласкает и тембр, и голос в целом. — Однако, чтобы ты встала на этот путь, нужно куда больше, чем находиться в этом кабинете.

— И что же?

— Мне нужны твои эмоции, Веста. Те самые, которые сейчас мешают тебе говорить. Те самые, которые ты так сильно подавляешь. Те самые, которые не дают спать по ночам, завтракать по утрам и смотреть в зеркало. Те чувства, которые сейчас кажутся тебе слишком сильными и пугающими. Но пока они глубоко внутри, словно яд, выздороветь невозможно.

— Я хочу...

Чего же я хочу?

Исчезнуть. Но это далеко от варианта нормы. Перестать себя ненавидеть. Что тоже кажется нереальным. А еще я хочу, чтобы из тишины вдруг стало чудовищно громко, от звука моей агонизирующей души.

— Все что угодно, Вест. В стенах этой комнаты ты можешь кричать так громко, как только позволят тебе твои связки. Ты можешь рыдать. Шептать. Смеяться. Раскачиваться, танцевать или молчать, глядя в одну точку. Ты можешь делать все, абсолютно все.

— И это будет нормальным? Я буду тогда нормальной?

— Нет. Но чтобы ей стать, для начала необходимо выпустить этот «яд» изнутри любым из доступных тебе способов.

Я не привыкла доверять. Более того, раскрывать душу скорее попытка — чем помощь. Не боязнь насмешки или непонимания, а добровольно врученное другому человеку оружие против меня. В моей душе нет такого секрета, который смог бы разрушить мировой порядок или чью-то жизнь. Мы без того давно и прочно все разрушены. И нет ничего особенного в сочащихся сожалениями язвах. Ничего особенного во мне попросту нет.

Но я не привыкла доверять никому. Даже себе. Наученная быть той самой дворнягой, которая одиноко слоняется в попытках выжить и привязывается к малейшей доброте, так сильно желающая найти руку любящего хозяина. Бросаясь к равнодушным под ноги.

Я не привыкла доверять. Но сейчас... Сейчас мне кажется что я иду ва-банк. И другого шанса уже не будет. Ничего не будет, если я не начну.

А начинать сложно.

Руки дрожат. Пальцы немеют, кости фантомно болят и в теле стоит напряженный гул миллионов электрических проводов, которые желают прошить меня насквозь и прикончить наконец. А глотка сжимается, будто в спазме.

— Смелее.

Легко говорить. Куда легче, чем открыть рот и слабо просипеть что-то нечленораздельное, а после схватить беспомощно мягкую серую подушку с дивана и уткнувшись в ту лицом стонать... хотя изнутри рвется крик. Задушенный чертов крик.

— Смелее.

Раздражает. Ее уверенность, хладнокровие и трезвость во взгляде. Может показаться, что она издевается, не будь на дне ее глаз целого колодца понимания и ненужной нам сейчас влаги. Ей это знакомо. А мне страшно, но я снова раскрываю рот и чуть громче выдыхаю в подушку, потом снова, снова и снова. Пока не изрыгаю буквально полувоем заглушенный крик.

— Смелее, девочка. — Совсем рядом и подушка исчезает и я кричу в свои скрюченные, хватающие пустоту руки. Вдрагивая от громкости, дрожа от ужаса, потому что свой голос узнать не получается.

— Еще.

И я повторяю. Повторяю до боли в горле, до пересохших трескающихся губ, кричу в светлый потолок, на хрустальную люстру. На деревянные часы и однотонные тяжелые шторы. На дверь, которая словно мембрана между мной и остальным миром.

— Еще.

— Хватит, — хриплю и беззвучно плачу. Чувствуя как по щекам, по шее, капая на сложенные руки, стекают холодные, словно подтаявшие льдины слезы. И последующие пятнадцать минут, которые я отсчитываю глядя на циферблат, висящих напротив меня настенных часов, мы просто молчим. Я решаюсь начать открывать створки гниющей души совершенно чужому мне человеку, этот самый человек ждет. И специально не пытаюсь запомнить ее имя, которое она регулярно повторяет. Но, не дав ее личности названия в своей голове, мне проще воспринимать ее без потенциальной для разума опасности. Это просто эфемерное нечто, способное понять и выслушать все, что скопилось во мне от начала и до самого конца. До текущей точки кажущегося невозврата.

И она слушает. Внимательно. Не перебивая, не задавая вопросов, иногда что-то отмечая в своем узком длинном блокноте, бесшумно скользя острым носиком дорогой ручки. Она слушает, и я вижу на дне ее глаз понимание. Я вижу, как отзывается в ней эта болезненная надломленность женской сути из-за сильных мира сего. Мужчины обижали не только меня, это вопиющая проблема современной женщины. Абсолютно каждой. И потому, когда я говорю, не прерывая зрительного контакта ни на секунду, что-то глубоко сокрытое в этой внешне сильной женщине отзывается, а я словно жук цепкими лапками отчаяния цепляюсь за эту знакомую нам обеим червоточину.

Дальше становится хуже. С каждым днем, вместо облегчения происходит все глубже погружение в мои страхи, беспомощность и боль. Я плохо сплю, почти ничего не ем и панически боюсь оставаться одна, потому что тишина кажется чьим-то шепотом. Постель выкопанной могилой. Окно — порталом в ад.

— Не закрывайся, Веста. Выпускай — не впитывай. «Яд» не покидает твое тело — он напитывает каждый орган и убивает тебя. Я не смогу тебе помочь — если ты этого не захочешь. Никто не сможет. Потому что проблема в твоей голове.

— Разве не в чувствах?

— Разве чувства вселяют тебе страх? Быть может это твои мысли о них?

Мысли...

Мыслей много. Мыслей слишком много и я плохо справляюсь, потому недолго думая мой лечащий врач решает, что следующим шагом, который должен помочь мне высвободиться — групповая терапия. Никогда не понимала в чем смысл брать и вываливать свое дерьмо на чужих людей, выслушивая при этом их собственные проблемы. И скептический настрой останавливает от того, чтобы открыть рот и говорить. Говорить так долго и много, сколько позволит и место, и время. И я слушаю эти слезливые истории расставания с мужьями, неоправданные надежды, обиды, капризы и все остальное, раздражаясь и отказываясь сочувствовать ровно каждой как мне кажется поверхностной дуре окружающей меня.

Пока не встречаю слепую, тихую, неприметную девушку.

Ее голова всегда в движении. Раскачивается из стороны в сторону, будто маятник. Мне кажется, что в какой-то из моментов, меня стошнит от долгого взгляда на нее. Волосы жидкие, гладкие, темные, постоянно скользят по ее бледной шрамированной коже. И она

также, как и я, долгие несколько дней просто молчит. Слушая плач, крики, страстные рассказы и жалобы. Не перебивая, никак, казалось бы, вообще не реагируя. Пока не открывает свой рот и не начинает тихим безжизненным голосом свой рассказ, от которого вокруг нас накрывает такой густой вакуумной тишиной, что помимо ее голоса слышно лишь едва слетающее с губ дыхание. Каждая женщина в комнате объединяется вдруг с другой, и мы как один живой организм просто захлебываемся болью этой девочки, которая прожила несколько лет хуже дворовой брошенной собаки. Пережила то, что не смог бы никто. И я не хочу ее слышать — слушаю. Не хочу купаться в боли — утопаю в ней, обмазываясь как эликсиром, втирая в собственные душевные раны и поймав в один из моментов взгляд той самой докторши без имени, вдруг понимаю, что это вопреки моим ожиданиям работает.

— Очень спорный метод почувствовать себя лучше, но безотказно всегда работающий.

— Для той, кто работает в подобном месте, ты удивительно бессердечна, — честно говорю, глядя во внимательные глаза напротив.

— Жизнь бессердечна — я лишь инструмент. Ты ведь была хирургом, продолжением твоей руки был скальпель.

— Продолжение твоих чувств — наша боль?

— Амброзия, — слабая улыбка. И честность парализующая, но подкупающая. Заставляющая запомнить, наконец, ее имя. Ванесса. Холодная, но согревающая. Теплая, но не размаривающая, а отрезвляющая. Острая, но мягкая. Идеально неправильная для той, кто должен врачевать не тела — души. Идеально подходящая мне.

— Кто сделал тебе больно? Ты ведь сама исцеляешься впитывая наш яд.

— Мужчина, — чуть пожимает плечами и закуривает тонкую длинную сигарету, задумчиво уставившись в окно. — Проблема ровно каждой женщины в нашем разрушенном мире — мужчина. Один или несколько. Подряд или одновременно. Мужчина, подаривший жизнь или попытавшийся отнять. Одной крови или совершенно чужой. Но всегда — мужчина... является первоначальной проблемой.

— Не говори, что сейчас лечат меня, а значит, вопросы задаешь только ты.

— Не скажу.

Врачам нельзя дружить с пациентами. С теми, кто платит им сумасшедшие деньги, являясь, по сути, просто клиентом, который может в любой из моментов покинуть стены этого мрачного заведения. Врачам запрещено в принципе сближаться с тем, кого начинаешь лечить так глубоко, куда даже хирург добраться не способен. Хотя, казалось бы, скальпель вездесущ.

Врачам нельзя.

Но Ванесса плевала на правила. Плевала и на запреты. Не плюет она лишь на души тех кто доверился ей.

Мать, сестра, подруга. Ближе, плотнее, глубже. Она ныряет в каждую, не пытаясь выбраться обратно, пока воды, хотя бы частично исцеленной чужой души, не вытолкают ее на поверхность. Сильная настолько, что пугает. Сильная до такой степени, что зависть слишком мелкое слово, чтобы дать оценку тому, что я чувствую, глядя на ее идеальность. Сильная, восставшая, словно феникс из пепла и отказывающаяся когда-либо снова сгорать по любой из причин.

— На территории принадлежащей нашему реабилитационному центру есть питомник. Больные и здоровые, крупные и мелкие, ручные животные в полной доступности для пациентов клиники. С ними можно просто контактировать или ухаживать. Когда-то был

дельфинарий, но содержать его слишком накладно, пусть подобная терапия и работает безотказно.

— Я не любитель.

— Значит, попробовать определенно стоит.

Мое «нет» словно спусковой крючок. Я отказываю — она мгновенно принимает решение. А я слишком слаба, чтобы спорить. Слишком слаба, чтобы сопротивляться ее воле. Отказывать тупо не хочется. К сожалению, о чем после жалею, когда успев полюбить хромую, но такую ласковую собаку, спустя каких-то жалких полтора месяца собственноручно ее хороню, закапывая на мелком кладбище на задворках проклятого питомника, умываясь слезами на глазах Ванессы.

— Зачем? — Все, что получается выдать, орудуя лопатой и наотрез отказавшись от помощи. — Зачем ты это сделала, Вэн? Зачем? Ты позволила мне привязаться, не сказав, что та смертельно больна. Но ее можно было спасти, просто сделав своевременную операцию. А теперь ее тело будет гнить в земле. Зачем? Я не понимаю. — Слезы обжигающие, слезы которые я не в силах остановить, будто долбаный ливень из глаз, омывают мне лицо. — Для чего нужна была эта жестокость? Неужели наша боль настолько тобой желанна, что ты бьешь наотмашь и без сожалений?

— Я не смогу тебе помочь, если при малейшем, ни капли не сокрушительном ударе — ты будешь падать снова в ту же яму, из которой начала выбираться.

— Я не готова была к потере. Я. Была. Не готова!

— К потерям готовым быть не может никто. — И мороз по коже вдруг останавливает меня вместе с холодом, колотым льдом ее голоса. И мысли, которые я ежедневно хороню внутри, игнорирую и пропускаю сквозь изрешеченные вены, будто фильтруя, начинают дымно заполнять, а ужас сковывает.

— Насколько он плох?

— Настолько. — Кивает и смотрит честно, не подходя, не отходя. Смотрит, и я понимаю, что где-то там сейчас страдает он — мое небо. А я где-то здесь, с руками измазанными землей, закапываю труп пушистой любимицы. В то время как один из чертовой святой троицы при смерти.

— Мне нужно... — начинаю, а закончить уже не могу. Потому что... нужно что? Уехать к нему? Я не готова. И это бессмысленно, потому что я беспомощна против подобного врага. Сбежать на край света и исчезнуть в дурмане, перечеркнув все усилия? Догонит все равно и боль, и ужас, и страх. Смерть догонит и его, и моя в конечном итоге. Вернуться к Францу? А я ему нужна вот такая?..

— Закончить то, что ты начала, — кивает на разрытую и не до конца закопанную могилу. — А после принять теплую ванну и выспаться. Завтра будет новый день. Хочешь ты того или нет — он настанет, как и множество событий, что последуют вслед за уже произошедшими. Жизнь будет бить без остановки и плохим, и хорошим, и каждый удар оставит на тебе свой неизгладимый особый след. Вопрос лишь в том — сделает тебя это сильнее или уложит ровно в такую же, быть может чуть шире и глубже, могилу. Выбор за тобой. Я могу наблюдать, направлять и быть рядом. Но режим саморазрушения, который в тебе запущен, вырубить способна только ты, Веста.

Разлука способна на многое. Лишь побыв вдали от всех знакомых мне ранее людей. Мужчин. Я вдруг начинаю понимать насколько сильно разнится испытываемое к каждому из

них, совершенно не пересекаясь между собой. Ванесса называет это способностью разделять и структурировать, что крайне полезно и можно использовать с умом, отсеивая ненужное или же выделяя остро необходимое.

Данный подход к собственным чувствам кажется излишне прагматичным. В чем-то совершенно циничным. И я понимаю, что любить можно не только сердцем. Любить можно вычищенной до абсолюта, протрезвевшей головой. И именно там я оставляю место для Джеймса, который необходим, но скорее выгоден, чем является смыслом.

— Это очень серьезный шаг. И я предельна тобой горда.

— Вэн, я становлюсь твоей копией, ты будто захватила в плен себе золушку, являясь злой мачехой, и вылепила из меня не прилежную девушку, а ведьму.

— Может ты ведьмой изначально была? Из глины не вылепить хрустальную вазу, Веста. Иногда вещи являются именно тем, чем кажутся — собой.

— Хотелось стать чистой и сильной.

— Чистоту переоценивают, когда она кристальна — слишком заметны темные пятна ошибок. А без пятен нет жизни.

— Ты не психолог — ты философ, — улыбаюсь, покачивая головой, и поглаживаю свои оголившиеся из-под длинной рубашки колени. Теплый чай в огромной кружке приятно греет мне руки.

— Что является, по сути, одним и тем же, — фыркает в ответ, и стреляет слегка веселым взглядом из-под длинных темных ресниц.

— Мне приснился сон вчера. Яркий и красочный, словно реальный, — отпив пару глотков и почувствовав тепло, что спускается от груди к животу, прикрываю глаза, вспоминая. — Мне было больно и плохо. Один из тех моментов, когда сон начинается из ничего, просто вспышкой я оказываюсь в каком-то чудовищно огромном, беспросветно темном поле. Противная морось делает мою кожу мокрой и почему-то липкой. Босые ноги сковывает боль от кровоточащих порезов, которые жгутся, словно я бегу по углям, а не грязной смоченной дождем траве. И вот так одна, в изорванном платье, растрепанная и испуганная, словно за мной гонится сам дьявол — я бегу. Не понимая, куда и зачем. Мне просто страшно и больно, а еще одиноко. И в голове бьется мысль, что если я останюсь или останусь одна — умру. И вдруг появляется он.

— Джеймс, — выдыхает, выпуская дым между покрашенных губ.

— Почему ты думаешь, что именно он? — Спрашиваю, не опровергая, ведь она действительно права. И ее пронизательность травмирует и чутка, самую малость, пугает.

— Первый и самый сильный триггер. Психика всегда вот такими метафорами намекает, от чего стоило бы избавиться в первую же очередь. Или наоборот сберечь.

— Джеймс, — выдыхаю ей в тон. — Я увидела его, что-то внутри загорелось так сильно и ярко, потянувшись к нему навстречу, вместе с моими руками, но как только наши пальцы соприкоснулись... он просто исчез.

— И ты решила, что это — знак, будто ты сможешь избавиться от него навсегда? — Ожидая, что она согласится — я, опешив, замолкаю, выслушивая ровно противоположное.

— Разве не в этом смысл? Убрать травматичные отношения, а, следовательно, и человека.

— Ты не сможешь убрать всех людей из своей жизни. Тебе нужно изменить свое к ним отношение. А начать нужно с понимания, что конкретно ты чувствуешь и к кому.

— Возможно ли любить троих одновременно?

— Ты мне скажи, — озадачена ли я ответом? Увы, но нет. Ванесса способна перевернуть мои взгляды вверх дном. Ткнуть в ошибки, высмеять принцип, но поддержать абсолютное безумие. Она шокирует пониманием, обескураживает бесчувственностью, привязывает честностью и прямоотой.

— И ты поверишь?

— А я здесь для этого?

— Нет, — и это правда. Потому что ее вера в мои чувства и мысли — спасательный круг в огромном океане, который промораживает свои холодом до костей. Ее вера меня не спасет, лишь немного отсрочит неизбежное. Спасти себя я должна сама, а значит плыть, только тогда... когда я начну двигаться к берегу, возможно, дам себе шанс выжить. — Джеймс исчез.

— И это было больно?

— Безумно. Какое-то время я не могла дышать, но почему-то двигалась все равно вперед. Не пытаюсь снова его отыскать — мучаясь, захлебываясь этой черной, как смола болью, что стекала слезами из глаз. Но я бежала вперед. Пока не врезалась, словно в мягкую, полупрозрачную стену...

— Филипп.

— Да, — киваю. — Фил. И он смотрел своими синими, огромными, такими красивыми глазами, которые топили в себе, возвышали до небес, сбрасывали обратно на землю. Они ранили, полосовали, будто стеклом, вскрывали мне раны, глядя с любовью и такой же отзеркаленной болью. А после его подхватило вихрем, смерчем, огромным порывом, который бросил меня наземь в грязь, в мокрую холодную, противную и липкую траву.

— И он исчез. — Кивает, выдыхая дым. — Не менее мучительный триггер, который ты боишься потерять даже больше чем первый. Ведь просто исчезнувший Джеймс — его собственный выбор бросить тебя и не помогать. А ворвавшийся в твою реальность вихрь, который подхватывает и утаскивает Филиппа — обстоятельства, которые могут заставить тебя попроситься с ним.

— Боль оказалась еще сильнее, стопы превратились в смесь грязи, крови и открытого мяса. Дышать казалось нереальным. Вокруг было сыро, мокро, гадко, безнадежно. Я перестала бежать. — Хмурюсь, почему-то разглядывая свои руки. Аккуратные ненакрашенные ногти, бледные длинные пальцы, отсутствие колец и браслета на тонком запястье. Все это бросается резко в глаза. Я похудела. Сильно похудела, забывая о еде, заставляя себя просто пить хотя бы пару раз в день. Я сильно похудела и это настигает словно вспышка молнии вместе с осуждением, которым затапливает меня от макушки до пяток. Вместе с обидой на Ванессу, ведь она все это время видела, в какой скелет я превращаюсь.

— Неприятно, когда с глаз сходит слой за слоем пелена?

— Ты допустила это.

— Я наблюдатель, Веста. Режим саморазрушения вырубить можешь лишь ты сама.

— И если бы я без чувств упала и не встала больше никогда?

— Я бы похоронила тебя.

— И сколько нас вот таких было?

— Больше, чем мне бы хотелось.

— Это жестоко.

Встаю и неровным шагом иду к дверям, злость на ее такую привычную прямооту вдруг

ошпаривает, словно кто-то вылил ушат сверху. Проваривает меня почти до полной готовности и посылает противную дрожь по ослабшему телу. Эмоции волнами-всплесками бушуют внутри, штормит непогода, каждый нерв наэлектризован... и меня прорывает истерикой. Страхом и болью, отчаянием. И снова страхом. И если месяцы назад, оглядываясь на ту сцену в ванной когда жить не хотелось... Я вдруг понимаю что ровно в этот самый момент — жить хочется как никогда сильно. И страшно вдруг не перестать чувствовать или потерять кого-то. Страшно становится прекратить существовать. И эта мысль судорожно, в панике бьется, достигая апогея, когда я оказываюсь на диване с чашкой ромашкового чая, в объятиях теплого пледа и тихо плача, под нос шепчу, что я хочу жить. Хочу жить. Для себя. Жить в мире с самой собой. Но не одинокой.

Я хочу попробовать жить с ним.

— Что произошло после того, как ты перестала бежать?

Прошло три часа, стемнело, я съела бульон, приняла лекарство и успела расслабиться, глядя своими опухшими от слез глазами, на все такую же идеальную Вэн. Сон не забылся, он отошел подальше... вроде и стал менее важным, а вроде и нет. Задвинуть бы подальше на задворки, да не задвигается. Словно он если не вещей, то просто очень важный.

— Я упала. И в этот момент казалось бы абсолютного конца — увидела его.

— Франц, — впервые улыбка более чем уместна, потому и появляется на ее сдержанном лице.

— И когда я к нему потянулась — он не исчез. Его не подхватил вихрь, не унес ветер, его не бросило в море... меня не утатило на дно. Он оказался источником моего дыхания. Теплый, твердый, воплощение жизни и мужественности. Силы и слабости одновременно. Мне казалось во сне, что я не смогу жить без Джеймса, что не смогу дышать без Фила, но оказалось, что на самом деле...

— Франц и есть воплощение жизни?

— Звучит как бред.

— Но им не является, — не соглашаясь, покачивает головой. — Подсознательно ты уже давно выбрала свой путь и того, с кем готова по нему идти, Веста. Осталось лишь набраться смелости.

— Я не готова.

— К захвату мира? Пожалуй. К тому чтобы взять руль и управлять своей жизнью? Более чем. Ведь все, что ты получила в этом чудесном месте, это — мои уши, оценку и медикаменты. Остальное лишь твоя работа над собой и своей судьбой. Во всем, всегда без исключений работает сила желания. Твоего желания. Пока ты хочешь, чтобы что-либо продолжалось или находилось внутри тебя или снаружи — так и будет. Многие кажется невозможным, но становится доступным — стоит лишь захотеть. Упорство, внутренняя сила, стремление, способность не сломаться — побочные вещи идущие рядом. Всем правит — желание, девочка. Или же все убивает и превращает в пыль отсутствие его.

— Я никогда не смогу отплатить тебе этот долг, Вэн. Не существует столько денег в этом мире и каких-либо ценностей, которые смогут его погасить. Ты спасла меня.

— Ты спасла себя сама.

Чуть меньше года в клинике, а по насыщенности — целая жизнь. Океан мыслей, который порой топил в себе, порой баюкал на волнах, обнимая пушистой пеной. Небо, что дарило надежду и пыталось поглотить одновременно, било словно розгами — грозами.

Уничтожало, омывало, оживляло. Небо такое полярное, такое разное, такое красивое и смертоносное. Спокойное, глубокое, огромное и абсолютное. Необходимое мне небо. И оно встречает меня чистотой безоблачной, когда за моей спиной закрываются ворота, оставляя за ними ту, что оказалась такой близкой, но одновременно чужой и далекой. Ту, которой имя — Ванесса. Еще один шрам, поражающий своей красотой, и им я буду гордиться.

За воротами я оставляю литры слез. Огромные, пыльные комья страха. Стружку из нервов. И покрывшую там каждый угол, будто чертов налет — боль. Ей пропиталось абсолютно все. Но разве в подобном месте возможна иная начинка?

Эти месяцы, длинные, жалкие, опустошающие, испытывающие, наполненные чем-то совершенно иным, пролетают слишком быстро. И вот так стоя свободной от контроля, сумевшая дать отпор зависимости и чувствуя себя хотя бы немного цельной, осознаю, что впереди меня снова ждет бесконечная борьба.

И это страшно. Неизвестность пугает, волнует и притягивает. Ускоряется пульс, бросается вскачь замершее в груди в ожидании сердце.

Я уйду из места, которое отобрало огромную часть меня, но обретаю надежду на то, что не все еще потеряно. Что у меня есть пока только призрачный, но шанс исправить казалось бы неисправимое. Ведь передо мной стоит внедорожник, обладатель которого воплощение жизни на этой грешной земле в нашем полуразрушенном мире. Источник тепла, к которому я попробую прикоснуться — не оставив после на руках незаживающий ожог, а в душе пустоту.

Он обещал мне вероятность нашей встречи и не соврал. Лаская ягодным взглядом, спокойным и твердым, словно канатом примагничивает к себе. Уверенный и сильный. В чем-то видимо согрешивший, раз я выпала на его долю. И сказать хочется так много... встав четко напротив, чувствуя как трепещет каждое нервное окончание, звенящее от восторга, потому что я соскучилась по нему смертельно... Тоска изгрызла, обточила оживающую ради него душу. И вместо приветствия, вместо извинений или просьб — тянусь к нему всем своим существом, прижимаюсь щекой к его щеке, трусь словно выпрашивающая ласку кошка и выдыхаю в теплую кожу прерывисто и побежденно.

Франц молчит, лишь рука его между моих лопаток, что прижимает к себе, дает мне понимание, что он не настолько безучастен, как может показаться. Франц молчит, а я чувствую уверенный стук его сильного, мудрого, огромного сердца. Молчит, но купает в тепле таком необходимом моему продрогшему нутру. Молчит долгие минуты, пока я оттаиваю. А мне бы замереть вот так на всю оставшуюся жизнь, но облизав пересохшие губы, начинаю тихо шептать бессвязным потоком каждую судорожно бьющуюся в виске мысль.

— Спасибо, что ты здесь для меня. Несмотря на то, что я облажалась, — носом в горячую кожу шеи. — Прости, что испортила нашу первую попытку выстроить отношения, причинила неудобства и накормила разочарованием и болью. — Он такой вкусный, такой идеальный в этом моменте, разделенном на двоих. И мне хорошо. По-настоящему хорошо сейчас. — И я не прошу тебя дать мне шанс, я прошу принять мои чувства и подарить мне возможность жить рядом с тобой. Дышать тобой. Любить тебя. — Не моргая в вишневые глаза напротив, прижимаясь лбом к его лбу. Выжидая. — Пожалуйста.

Больше книг на сайте - Knigoed.net